



РОСА ОРАНЖЕВОГО ЧАСА

ПОЭМА ДЕТСТВА В 3-х ЧАСТЯХ

ВСТУПЛЕНИЕ

1

Роса оранжевого часа —
Когда восход, когда закат.
И умудренность контрабаса,
И рядом листики баллад,
И соловьев бездумных трели,
Крылатый аромат цветов,
И сталь озер, и сталь Растрелли —
Роса оранжевых часов...

Пылающие солнца стрелы
Мне заменяют карандаш.
Зыряне, шведы и мингрелы —
Все говорят: «Ты — наш! ты — наш!»,
На голове в восторге волос
Приподнимается от стрел,
И некий возвещает голос:
«Ты окончательно созрел.
Но вскоре осень: будет немо...
Пой, ничего не утая:
Ведь эта самая поэма —
Песнь лебединая твоя».



Отец и мать! вы оба правы
 И предо мной, и пред страной:
 Вы дали жизнь певцу дубравы
 И лиру с праведной струной.
 Я сам добавил остальное —
 Шесть самодельных острых струн.
 Медно-серебряно-стальные,
 Они — то голубь, то бурун.

Когда беру аккорд на лире
 Неверный, слышит и луна:
 О солнечной душевной шири
 Поет та, первая, струна.
 Благодаря лишь ей, вся песня,
 Где в меди песенной литой
 Порой проскальзывает «пресня»,
 Таит оттенок золотой.
 Отец и мать! вы вечно правы!
 Ваш сын виновный — правдой прав.
 Клоню пред вами знамя славы,
 К могилам дорогим припав.

ЧАСТЬ I

1

Я видел в детстве сон престранный,
 Престранный видел в детстве сон...

Но раньше в Петербург туманный,
 Что в Петроград преображен,
 Перелетаю неустанной
 Своею мыслью, с двух сторон
 Начав свое повествованье:
 С отца и матери. Вниманье!
 Начало *до моих* времен.

2

Родился я, как все, случайно
 И без предвзятости при том...
 Был на Гороховой наш дом.
 Отец был рад необычайно,



Когда товарищ по полку
 Затеял вдруг в командировку
 Из телеграмм бомбардировку,
 И, лежа на живом шелку
 Травы весенней, в телеграмме
 Прочел счастливый мой *рапа* *,
 Что я родился, дея *рас* **,
Ras, предусмотренные в драме,
 Какую жизнью свет зовет.
 Ему привет товарищ шлет
 И поздравляет папу с сыном
 Егорушкой. Таким скотинам,
 Как этот Дэмбский, папин друг,
 Перековеркавший мне имя,
 Я дал бы, раньше всех наук,
 Урок: ошибками своими
 Таланта не обездаришь:
 Ведь Игоря объегорять —
 Не то, что дурня объигорить,
 Каким был этот офицер...
 Ему бы всем другим в пример,
 Лицо полезно разузорить...
 Отец мой, вмиг поняв ошибку
 Приятеля, с киргофских гор
 Прислал привет отцовский в зыбку.
 Шалишь, брат: Игорь — не Егор!
 «Егор! Егорий!» — так на торге
 Базарном звал народ простой
 Того, кто в жизни был Георгий
 Победоносный и святой.

3

Отец мой, офицер саперный,
 Был из владимирских мещан.
 Он светлый ум имел бесспорный
 Немного в духе англичан.
 Была не глупой Пелагея,
 Поэта бабка по отцу:
 На школу денег не жалея,
 Велела дедушке-купцу

* Папа (*фр.*). — *Ред.*

** Па (в танце) (*фр.*). — *Ред.*



Везти детей в далекий Ревель
И поместить их в пансион,
Где дух немецкий королевил
Вплоть до республичных времен...
Отец, сестра Елисавета
И брат, мой дядя Михаил, —
Все трое испытали это.
И как у них хватило сил?
В четыре года по-немецки
Отец мой правильно болтал,
А бабка по-замоскворецки
Копила детям капитал.
Окончив Инженерный замок,
Отец мой вышел в батальон,
Не признавая строгих рамок,
Каких нескопленный мильон
Леонтьевны хотел от сына,
На то была своя причина:
Великолепнейший лингвист,
И образован, и воспитан,
Он был умен, он был начитан;
Любил под соловьиный свист
Немного помечтать; частенько
Бывал он в Comédie Française;
Но вместе с тем и Разин Стенька
В душе, где бродит русский бес,
Обрел себе по праву место:
И оргии, и кутежи
Ему не чужды были. Лжи
Не выносил он лишь. Невеста,
Поэта мать, была одна,
Зато — мильон одна жена...

4

А мать моя была курянка,
Из рода древнего дворянка,
Причем, до двадцати двух лет
Не знала вовсе в кухню след.
Дочь предводителя дворянства
Всех мерила на свой аршин:
Естественно, что дон-жуанство
Супруга — чувство до вершин
Взнести успешно не смогло бы.
Степан Сергеевич Шеншин,



Ее отец, не ведал злобы,
Был безобидный человек.
В то время люди без аптек,
Совсем почти без медицины,
На свете жили. Десятины
Прекрасной пахотной земли
Давали все, что дать могли.
Борисовка, затем Гремячка
И старый Патеппник — вот три
Поместья дедушки. Смотри,
Какая жизнь была! Собачка,
Последняя из барских сук,
Жила, я думаю, богаче,
Не говоря уже о кляче,
Чем я, поэт, дворянский внук...
Они скончались все, но тихи ль,
При думе обо мне, их сны —
Всех Переверзевых, Клейнмихель,
Виновников моей весны,
Лишенной денег и комфорта?
И не достойны ли аборта
Они из памяти моей?
Все вы, Нелидовы и Дуки,
Лишь призраки истлевших дней,
Для слуха лишь пустые звуки...
Склоняясь ныне над сумой,
Таю, наперекор стихии,
Смешную мысль, что предок мой
Был император Византии!..
Но мне не легче от того,
А даже во сто раз труднее:
Я не имею ничего,
Хотя иметь как будто смею...
И если бы я был осел,
Четвероногая скотина,
Я стал бы греческий престол
Оспаривать у Константина!..
Но, к счастью, хоть не из людей,
Я все же человек и, значит,
Как бедность жизнь мне ни собачит,
Имею крылышки идей,
Летя на них к иному трону.
Ах, что пред ним кресты царьков?
Мне Пушкин дал свою корону:
Я — тоже царь, но царь стихов!



Из жизни мамы эпизоды,
 Какие, по ее словам,
 Запомнил, расскажу я вам:
 Среди помещиков уроды
 Встречались часто. Например,
 Один из них, граф де Бальмер,
 Великовозрастный детина,
 Типичный маменькин сынок,
 Не смел без спроса рвать жасмина
 И бутерброда съесть не мог;
 Не смел взглянуть на ротик Лизин,
 Когда был привозим на бал.
 Таких детей воспел Фонвизин
 И недорослями назвал.
 Другой потешный тип — Фонтани:
 Тот ростом просто лилипут,
 Любил вареники в сметане
 И мог их скушать целый пуд.
 Он был обжорою заправским,
 Чем славился на весь уезд,
 Шатаясь по приемным графским,
 Выискивая в них невест.
 Был и такой еще помещик,
 Который, взяв с собою вещи
 И слуг, в чужой врывается дом,
 Производя в сенях содом;
 И, окружен детьми чужими,
 Взирая на чужих детей,
 Считая их семьей своей,
 Кричал рассеянно: «Что с ними
 Я буду делать? Чем, о чем
 Я накормлю их? Ах, зачем
 Такое у меня семейство?»
 А вот пример «эпикурейства»:
 Вблизи Щигров жил-был один
 Мелкопоместный дворянин,
 Который так свалился низко
 (Причин особых не ищи!),
 Что чуть ли не без ложки щи
 Лакал из миски... Эта миска —
 Его единственный сосуд.
 Когда же предводитель, суд
 Над ним чиня, его поставил



В условия лучшие, сей Павел
Иваныч Никудышный взял
И долго жить всем приказал, —
Что называется, не вынес:
Людская жизнь не по нутру
Пришлась ему, и поутру
Он умер, так и не «очинясь
В чин человека»... Как-то раз
Вкатил в Гремячку тарантас:
Пожаловала в нем Букашка,
Одна помещица из Горст,
А вслед за ней ее Палашка
Неслась галопом 20 верст!
Шел пар от лошадей и девки...
Еще бы! Как не шел бы пар!
Какие страшные издевки!
Какая жуть! Какой кошмар!
Одна соседка-белоручка
Весьма типичною была:
Любовь помещица звала:
«Сердечновая закорючка».
Никто, пожалуй, не поверит,
Но вот была одна из дев,
Что говорила нараспев:
«Ах, херес папочка мадерит,
Но к вечеру он примет вас,
Когда перемадерит херес...» —
Какая чушь! какая ересь!
Неисчерпаемый запас
Дворянской жизни анекдотов!
Но чем же лучше готтентотов
Голубокровь и белокость?
Вбиваю я последний гвоздь,
Гвоздь своего пренебреженья,
В анекдотический сундук,
Где в кучу все без уваженья
Мной свалены, будь то сам Дук,
Будь то последняя букашка...
О, этот смех звучит так тяжело!..

За генерала-лейтенанта
Мать вышла замуж. Вдвое муж
Ее был старше, и без Канта



Был разум чист его к тому ж...
Он был похож на государя,
Освободителя-царя,
И прожил жизнь свою не зря:
Мозгами по глупцам ударя,
Он вскоре занял видный пост,
Соорудя Адмиралтейство,
И, выстроив Дворцовый мост,
Он обошелся без злодейства.
Имел двух братьев: был один
Сенатором, другой же гласным.
Муж браком с мамой жил согласным
И вскоре дожил до седин,
Когда в могилу свел его
Нарыв желудка — в Рождество.
Он был вдовец, и похоронен
В фамильном склепе близ жены —
Все Домонтовичи должны
В земле быть вместе: узаконен
Обычай дряхлый старины.
Ему был предан гетман Довмонт,
Из старых польских воевод,
Он под Черниговом в сто комнат
Имел дворец над лоном вод.
Гостеприимство генерала,
Любившего картежный хмель,
Еженедельно собирало
На винт четыре адмирала:
Фон-Берентс, Кроун, Дюгамэль
И Пузино. Морские волки
За картами и за вином
Рассказывали о своем
Скитании по свету. Толки
Об их скитаньях до меня
Дошли, и жизнь воды, маня
Собой, навек меня прельстила.
Моя фантазия гостила
С тех пор нередко на морях,
И, может быть, они — предтечи
Моей любви к воде. Далече
Те дни. На мертвых якорях
Лежат четыре адмирала,
Но мысль о них не умирала
В моем мозгу десятки лет,
И вот теперь, когда их нет,



Я, вовсе их не знавший лично,
С отрадой вспоминаю их,
И как-то вдохновенно клично
О них мой повествует стих.
В те дни цветны фамилий флаги,
Наш дом знакомых полон стай:
И математик Верещагин,
И Мравина, и Коллонтай,—
В то время Шура Домонтович,—
И черноусыч, чернобровыч,
Жених кузины, офицер;
И сын Карамзина, и Салов,—
Мой крестный, матери beau-frère * —
И Гассман, верный из вассалов,
И он, воспетый де-Бальмэр,
И, памяти недоброй, Штрюмер,
Искавший маминой руки
В дни юности. Сановник умер.
И все той эры старики.

7

От брака мамы с генералом
Осталась у меня сестра.
О, детских лет ее пора
Была прекрасной: бал за балом
Мелькал пред взорами ее!
Но впрочем детство и мое,
Не омраченное нуждою
(Ее познал потом поэт),
По-своему прекрасно. Зою,
Что старше на двенадцать лет,
Всегда я вспоминаю нежно.
Как жизнь ее прошла элежно!
Ее на свете больше нет,
О чем я искренне жалею:
Она ведь лучшею моею
Всегда подругою была.
Стройна, красива и бела,
Восторженна и поэтична,
Она любила мир античный;
Все воскреления орла

* Зять (здесь: муж сестры) (фр.). — Ред.



Сестрой восприняты отлично.
Как жаль, что Зоя умерла!

8

Мать с ней жила в Майоренгофе, —
Ах, всякий знает рижский шtrand! —
Когда с ней встретился за кофе
У Горна юный адъютант.
Он оказался Лотаревым,
Впоследствии моим отцом;
Он мать увлек весенним зовом,
И все закончилось венцом.
Напрасно полицмейстер Гроткус,
Ухаживая, на коне
К ней на веранду, при луне, —
Как говорят эстонцы, «kotkas», —
Орлом бравируя, въезжал;
Барон, красавец златокудрий,
Напрасно от любви дрожал
И не жалел любовных жал —
Его затмил поручик мудрый.

9

...Я видел в детстве сон престранный:
Темнел провалом зал пустой,
И я в одежде златотканной
Читал на кафедре простой,
На черной бархатной подушке
В громадных блестках золотых...
Аплодисменты, точно пушки,
В потемках хлопали пустых...
И получалось впечатление,
Что этот весь безлюдный зал
Меня приветствовал за чтение
И неумолчно вызывал...
Я уклоняюсь от трактовки
Мной в детстве виденного сна...
Той необычной обстановки
Мне каждая деталь ясна...
Я слышу до сих пор тот взрывный
Ничьих аплодисментов гул...
Я помню свой экстаз порывный —
И вот о сне упомянул...



Мне было пять, когда в гостиной
 С Аделаидой Константиной,
 Которой было тридцать пять,
 Я, встретясь в первый раз, влюбился;
 Боясь об этом дать понять
 Кому-нибудь, я облачился
 В гусарский — собственный! — мундир,
 Привесил саблю и явился
 Пред ней, как некий командир
 Сердец изысканного пола...
 С нее ведет начало школа
 Моих бесчисленных побед
 И ровно столько женских бед...
 Я подошел к ней, шаркнув ножкой
 И шпорам дав шикарный звяк,
 Кокетничая так и сая,
 Соперничая втайне с кошкой,
 Что на коленях у нее
 Мурлыкала. Увы, пропало
 Старанье нравиться мое:
 Она меня не замечала.
 Запомните одно, Адэль:
 Теперь переменились роли,
 И дни, когда меня пороли,
 За миллионами недель.
 Теперь у всех я на виду,
 И в том числе у вас, понятно,
 Но к вам я больше не иду;
 Ведь вам столетье, вероятно!..

11

Я, к счастью, вскоре позабыл
 Любви отвергнутой фиаско:
 Я тройку папочных кобыл
 В подарок получил и каску
 Кавалергардскую, взамен
 Гусарской меховой с султаном...
 Мне захотелось перемен, —
 Другим загрезился я станом:
 Брюнетки, старше на пять лет
 Меня, Селиновой Варюши;
 В нее влюбился я «по уши».



И блеск гвардейских эполет,
Носимых мною, ей по вкусу
Пришелся. Вскоре сделал я
Ей предложение, не тая
Любви и подарил ей... бусу
Стеклянную на память! Дар
Предсвадебный невесту тронул.
Вот как влюблялся экс-гусар,
Имевший склонность к аристону,
Чью ручку он вертел все дни,
На нем «Альбаччио» играя,
И гимн «Господь, царя храни!»
Ему казался гимном рая...

12

Совать мне пробовали бонн,
Француженок и англичанок,
Но с ними я такой брал тон,
Предпочитая взвизги санок
Научным взвизгам этих дев,
Что бонны сыпались картечью
Со всей своей картавой речью,
Ладони к небесам воздев...
И только Клавдия Романна,
Mademoiselle моей сестры,
Одна могла, как то ни странно,
В разгаре шуток и игры,
Меня учить, собирая в стаю
Рои разрозненные дум,
По сборнику «И я читаю», —
И зачитал я наобум...

13

Мой путь любовью осюпризен,
И удивительного нет,
Что я влюблен в Марусю Дризэн,
Когда мне только девять лет.
Ей ровно столько же. На дачах
Мы с нею жили vis-a-vis; *
И как нас бонна ни зови,

* Лицом к лицу, друг против друга (фр.). — Ред.



Мы с ней погружены в задачах...
Не арифметики,— любви!
Ее папаша был уланский
Полковник, с виду Антиной,
Германец, так сказать, курляндский,
Что вечно влагою цимлянкой
Гасил кишок гвардейских зной...
Упомянуть я должен вкратце
О Сандро, шаловливом братце
Моей остзейской Лорелей,
Про скандинавских королей
И викингов любившей саги
Из уст двух дядь и на бумаге,
Где моря влажь милей, чем твердь;
О толстой гувернантке-немке
И о француженке, как жердь;
Но как ты ни жестокосердь
Моей безоблачной поэмки
Ее фигуркою, *madame*
Я уваженье лишь воздам...

14

В саду игрушечный домишко
Нам заменял *Chateau d'amour* *
Где тонконогая Амишка
Нас сторожила, как лемур...
У нас была своя посуда,
Свои любимые цветы
И от людского пересуда
В душе таимые мечты.
Ей шло батистовое платье,
Белей вишневых лепестков,
И, если стану вспоминать я
Ту крошку, фею мотыльков,
Не меньше тысячи стихов
Понадобится мне, пожалуй,
Меж тем, как сжатость — мой девиз;
И вот прошу транзитных виз
В посольстве Памяти усталой:
Ведь крошка только эпизод,
А пункт конечный назначенья —

* Замок любви (фр.). — Ред.



Все детское без исключения;
И как для дуба креозот,
Страшны художнику длинноты...
Итак, беру иные ноты,
Что называется, пальнув
В читателя старушкой сплетней,
Все это оказалось пуф
Впоследствии, но нашей летней
Любви был нанесен урон;
Как в настоящей камарильи,
Старушки в кухне говорили,
Что я, как некий Оберон,
В Титанию влюбленный, Варю
Селинову на дачу жду.
Я не могу понять нужду, —
Затем, что сам я не кухарю, —
Заставившую рты стряпух
Пустить такой нелепый слух.
Тот слух растягивал им харю
В ухмылку пошлую. Они
Уже высчитывали дни
Приезда маленькой смуглянки
И в жарком споре били склянки,
Тарелки, миски и графин.
Строй Аграфен из Агриппин
Судил о детских впечатленьях
С недетской точки зренья; их —
Испорченных, развратных, злых —
Отбросим в грязных их сомненьях,
И скажем, что одна из фраз
О Варе долетела раз
До слуха хрупкого Маруси...

15

Закат оранжевый, орусив
Слегка пшеничность мягких кос,
Вложил в ее уста вопрос:
«Я слышала, ты ждешь Варюшу
Какую-то... Но кто ж она?
Она в тебя не влюблена?
О, не смущайся: не нарушу
Я вашей дружбы...» — А в глазах
Блеснули слезы, и в слезах
Она обиженную душу



Оплакивала не шутя.
Маруся это *monstre* * -дитя...
Я ей признался, что до встречи
С ней, может быть, когда-нибудь
И пробовал я обмануть
Себя иллюзией, но путь
Мой твердым стал при ней, что речи
Былые, детские, не в счет,
Что я теперь совсем не тот,
Что я серьезнее и старше,
Что взрослый я уже почти,
Что «ты внимательно прочти
Страницы сердца: в них не марши
Парадные, а траур месс»,
Что я без шалостей и без
Каких бы ни было там шуток
Ее люблю, что мрачно-жуток
Мой умудренный жизнью взор;
Я указал на кругозор
Ей мой, на важные задания,
На взлет идей, и, в назиданье,
По предположенным усам
Крутя рукой, «белугой» сам
Расплакался перед малюткой...
И розовую незабудкой
Лицо Маруси расцвело, —
Она нашла успокоенье
В моих словах: спустя мгновенье
Безоблачным мое чело
И ласковым, как прежде, стало.
Чего бы нам не доставало,
Имевшим все: полки солдат,
Корабль и кукол гардеробы,
Любви веселые микробы,
Куртин стозвонный аромат
И даже свой *Chateau d'amour*,
Объект стремлений наших кур?!.

16

Мелькали девять лет, как строфы
В романе, наших дач ряды —

* Чудовище (фр.). — Ред.



Все эти Стрельны, Петергофы,
Их павильоны и пруды.
Мы жили в Гунгербурге, в Стрельне,
Езжали в Царское Село.
Нет для меня тоски смертельной,
Чем это дачное тягло!..
Не то теперь. А раньше? Раньше,
Не зная духа деревень,
Я уподоблен капитанше,
Считавшей резедой... ревень!
Вернувшись с дачи в эту осень,
Забыв роскошное шато
И парка векового лосень,
Я стал совсем ни се — ни то:
Избаловался, разленился,
Отбился попросту от рук...
Вот в это время появился
Ильюша, будущий супруг
Моей сестры. Я на моменте
Предсвадебном останавлиюсь
И несколько назад вернусь...

17

Отец ушел в запас. В Ташкенте,
Где закупал он в город Лодзь
Мануфактуры ткацкой хлопок,
Он пробыл года два. От «стопок»
Приятельских (ах, их пришлось
Ему немало!), от кроваток
На мокрой зелени палаток,
От путешествия в Париж,
Что обошлось почти в именье,
От всех Джульетт, от всех Мариш,
Почувствовал он утомленье
И боли острые в груди:
Его чахотка впереди
Ждала. Итак, пока мы скосим
Два года до венца сестры,
И обозначим в тридцать восемь
Отцовский возраст той поры.
Случайно, где-то в Самарканде,
На санаторийной веранде,
Он познакомился с Ильей,
Штабс-капитаном гарнизона,



И эта важная персона
Впоследствии моей сестрой
Изволила увлечься: в гости
Отец к нам приезжал зимой
С Ильею вместе. Мрачной злости
С невинных глаз не разобрав
В Илье, в него влюбилась Зоя,
Он показал покорный нрав.
Но, говоря меж нами — соя
Преострая был этот муж,
И для таких тончайших душ,
Как Зоина, изрядно вреден.
Он внешне интересно-бледен,
Довольно робок, в меру беден,
Имел пушистые усы,
Имел глаза темней агата.
Так иногда, ласкаясь, псы
Сгибают спины виновато...

18

Итак, Илья — уже жених.
Немало мог я рассказать бы
О яркой пышности их свадьбы,
Но надо экономить стих.
И трудно говорить о них
Подряд: ведь, вспоминая Зою,
Благоговею я душой,
А муж ее, — он мне чужой,
Антипатичный. Я не скрою,
Что он нам сделал много зла:
Мне и моей пассивной маме;
Я расскажу теперь о драме,
Которая произошла,
Увы, не без его участия...
У мамочки он отнял счастье
Со мною быть; его совет
Отцу, приехавшему к свадьбе,
Решил судьбу мою. И свет
В новопостроенной усадьбе,
Куда отец меня увез,
Моим очам явился в свете
Совсем ином. О, сколько слез
Мои глаза познали — эти,
Которыми теперь смотрю



На белолистые страницы,
Их бисеря пером! Мне мнится
Сестры венчанье. К алтарю
Введения во храм, в атласе,
Под белым газом, по ковру
Идущая сестра. Беру
Тот миг, когда в иконостасе
Коричневая темень глаз
В лучах лампад глядит на нас.
Я — мальчик с образом. В костюме
Матросском, белом, шерстяном.
Мои глаза в печальной думе
Все об одном, все об одном:
Как долго проживет родная?
Душа мне говорит: «Проси
У бога милости: одна я»...
О боже, мамочку спаси!..
...А тут и этот бездыханный
Зал и ладоней гулкий стон...

Я видел в детстве сон престранный...
Престранный сон... Престранный сон...

ЧАСТЬ II

I

Завод картонный тети Лизы
На Андоге, в глухих лесах,
Таил волшебные сюрпризы
Для горожан, и в голосах
Увиденного мной впервые
Большого леса был призыв
К природе. Сердцем ощутив
Ее, запел я; яровые
Я вскоре стал от озимых
Умело различать; хромых
Собак жалеть, часы на псарне
С борзыми дружно проводя,
По берегам реки бродя,
И все светлей, все лучезарней
Вселенная казалась мне.
Бывал я часто на гумне,
Шалил среди веселой дворни,



И через месяц был не чужд
Ее, таких насущных, нужд.
И понял я, что нет позорней
Судьбы бесправного раба,
И втайне ждал, когда труба
Непогрешимого Протеста
Виновных призовет на суд,
Когда не будет в жизни места
Для тех, кто кровь рабов сосут...
Пока же, в чаяньи свободы,
В природу я вперял свой взгляд,
Смотрел на девьи хороводы,
Кормил доверчивых цыплят.
Где вы теперь, все плимутроки,
Вы, орпигоны, фавероль?
Вы дали мне свои уроки,
Свою сыграли в жизни роль.
И уж, конечно, дали знаний
Не меньше, чем учителя,
Глаза в лесу бродивших ланей
И реканье коростеля...
Уставши созерцать старушню,
Без ощущений, без идей,
Я часто уходил в конюшню,
Взяв сахара для лошадей.
Меня встречали ржаньем морды:
Касатка, Горка и Облом
Со мною были меньше горды,
Чем ты, манерный теткин дом...

2

Сближала берега плотина.
На правом берегу реки
Темнела фабрики махина,
И воздух резали свистки.
А дом и все жилые стройки
На левой были стороне,
Где повара и судомойки
По вечерам о старине,
Сойдясь, любили поговорить,
Попеть, потанцевать, поспорить
И прогуляться при луне.
Любил забраться я в каретник,
Где гнил заброшенный дормез.



Со мною Гришка-однолетник,
Шалун, повеса из повес,
Сын рыжей скотницы Евгеньи;
И там, средь бричек, тюльбэри,
Мы, стибрив в кладовой варенье,
В пампасы — черт нас поberi! —
Катались с ним, на месте стоя...
Что нам Америка! пустое!
Нас безлошадный экипаж
Вез через горы, через влажь
Морскую. Детство золотое!
О, детство! Если бы не грусть
По матери, чьи наизусть
Почти выучивал я письма,
Я был бы счастлив, как Адам
До яблока... Теперь я дам
Гришутке, — как ни торопись мы
Из Аргентины в нашу глушь,
К обеду не поспеем! — куш:
На пряники и мед полтинник,
А сам к балкону, дай бог прыть,
Не слушая, что говорить
Вослед мне будет дрозд-рябинник.

3

А в это время шла на Суде
Постройка фабрики другой,
Где целый день трудились люди,
Согбенные от нош дугой.
Завод свой тетка продавала:
Он был турбинный, и доход
Не приносил не первый год;
И опасаясь до провала
Все дело вскоре довести,
И после планов десяти,
Она решила паровую
Построить фабрику в верстах
В семи от прежней, на паях
С отцом, и, славу мировую
Пророча предпринять, в лес
Присудский взоры обратила.
Так, внемля ей, отец мой влез
В невыгодную сделку. Мило
Начало было, но, спустя



Четыре года, все распалось
И тетушка одна осталась,
Об этом, впрочем, не грустя;
В том удивительного мало:
Отец мой был не коммерсант,
В наживе слабо понимала
И тетушка: ведь прейс-курант
Сортов картона — не Жорж Занд!..
На новь! Прощай, завод турбинный
И дюфербреров провода.
И в час закатный, в час рубинный,
Ты, тихой Андоги вода!

4

От мглы людского пересуда
Приди, со мной повечеряй
В таежный край, где льется Суда...
Но стой, ты знаешь ли тот край?
Ты, выросший в среде уродской,
В такой типично-городской,
Не хочешь ли в край новгородский
Прийти со всей своей тоской?
Вообрази, воображенья
Лишенный грез моих стези,
Восторженного выраженья
Причины ты вообрази.
Представь себе, представить даже
Ты не умеющий, в борьбе
Житейской, мозгу взяв бандажи
Наркотиков, представь себе
Леса дремучие верст на сто,
Снега с корою синей наста,
Прибрежных скатов крутизну
И эту раннюю весну,
Снегурку нашу голубую,
Такую хрупкую, больную,
Всю целомудрие, всю — грусть...
Пусть я собой не буду, пусть
Я окажусь совсем бездарью,
Коль в строфах не осветозарю
И пламенно не воспою
Весну полярную свою!



Лед на реке, себя вздымая,
 Треща, дрожа и трепеща,
 Лишь ждет сигнального праша:
 Идти к морям навстречу мая.
 Лед иззелено-посинел,
 Разокнился весь полыньями...
 Вот трахнул гром по льду! Конями
 Помчались льдины, снежность тел
 Своих ледяных тесно сгрудив,
 Друг друга на пути дробя,
 Свои бока обызумрудив
 В лучах светила, и себя
 В весеннем солнце растопляя...
 И вот пошла река, гуляя
 Своей разливною гульбой!
 Ты потрясен, Господь с тобой?
 Ты не находишь от восторга
 Слов, в междометья счастья влив?
 О, житель городского торгога,
 Радиостанции и морга,
 Ты видел ли реки разлив,
 Когда мореют, водянеют
 Все нивы, пажити, луга,
 И воды льдяно пламенеют,
 Свои теряя берега?
 В них отраженные, синеют
 Стволы деревьев, а стога,
 Телеги, сани и поленья
 Среди стволов плывут в оленье
 Трущобы, в дебри; и рога
 Прижав к спине, в испуге, лоси
 Бегут, спасаясь от воды,
 Передыхая на откосе
 Мгновенье: тщетные труды!
 Вода настигнет все, и смоев
 Оленей, зайцев и лисиц,
 И тем, кого гора не скроет,
 Пред нею пасть придется ниц...

С утра до вечера кошовник
 По Суде гонится в Шексну.



Цвет лиц алее, чем шиповник,
У девок, славящих весну
Своими песнями лесными,
Недремлющих у потесей,
И Божье раздается имя
Над Судой быстроводной всей.
За ними «тихвинки» и баржи
Спешат, стремглав, вперегонки,
И мужички — живые шаржи, —
За поворотами реки,
Извилистой и прихотливой,
Следят, все время начеку,
За скачкой бешено гульливой
Реки, тревожную тоску
В ней пробуждающей. На гонку
С расплыва налетит баржа,
Утопит на ходу девчонку,
Девчонкою не дорожа...
И вновь, толпой людей рулима,
Несется по теченью вниз,
Незримой силою хранима
Возить товары на Тавриз
По Волге через бурный Каспий,
Сама в Олонецкой родясь...
Чем мужичок наш не был распят!
Острог, сивуха, рабство, грязь,
Невежество, труд непосильный —
Чего не испытал мужик...
Но он восстал из тьмы могильной,
Стоический, любвеобильный, —
Он исторически-велик!

7

Теперь, покончив с ледоходом,
Со сплавом леса и судов,
Построенных для городов
Приволжских, голод «бутербродом
Без масла» скромно утоля,
Я перейду к весне священной,
Крылья душою вдохновенной
К вам, пробужденные поля.

Дочь Ветра и Зимы, Снегурка, —
Голубожильчатый Ледок —



Присела, кутаясь в платок...
Как солнечных лучей мазурка
Для слуха хрупкого резка!
У белоствольного леска
Березок, сидя на елани,
Она глядит глазами лани,
Как мчится грохотно река.
Пред нею выются завитушки
Еще недавно полых вод
Снегурка, сидя на горушке
С фиалками, как на подушке
Лилово-шелковой, поет.
Она поет, и еле слышно
Хрусталил трели голосок,
Ей грустно внемлет беловишня,
Цветы роняя на песок.
И белорозые горбуны,
Невесты — яблони, чей смят
Печально лик, внемля певунье,
Льют сидровый свой аромат.
Весна поет так нио чемно,
И в нио чемности ее
Таится нечто, что огромно,
Как все земное бытие.
Весна поет. Лишь алый кашель
Порой врывается к ней в песнь.
Ее напев сердца онашил.
Ах, нашею он сделал веснь!
Алмаз в глазах Весны блистает:
Осолнеченная слеза.
Весна поет и в песне тает... *
И вскоре в воздухе глаза
Одни снегурочкины только
Сияют, ширятся, растут;
И столько нежности в них, столько
Предчувствия твоих минут,
Предсмертье, столько странной страсти,
Неразделенной и больной,
Что разрывается на части
Душа весной перед Весной!..
И чем полней вокруг расцвета
И жизни сила, чем слышней

* М. Лермонтов: «Она поет, и звуки тают...» (Прим. автора).



Шаги спешащего к нам лета,
В горячей роскоши своей,
Тем шире грусть в очах весенних,
И вскоре поднебесье сплошь
Объято ими: жизни ложь
В весенних кроется мгновеньях:
«Живой! Подумай: ты умрешь!..»

8

Череповец, уездный город,
Над Ягорбой расположен,
И в нем, среди косматых бород,
Среди его лохматых жен,
Я прожил три зимы в Реальном,
Всегда считавшемся опальным
За убиение царя
Воспитанником заведенья,
Учась всему и ничему
(Прошу покорно снисхожденья!..)
Люблю на Севере зиму,
Но осень, и весну, и лето
Люблю не меньше. О поре
О каждой много песен спето.
Приехав в город в сентябре,
Заделался я квартирантом
Учителя, и потекли, —
Как розово их ни стекли! —
Дни серенькие. Лаборантам,
Чиновникам и арестантам
Они знакомы, и про них
Особо нечего сказать мне.
По праздникам ходили к Фатме,
К гадалке (гривенник всего
Она брала, и оттого
Был сказ ее так примитивен...
Ах, отчего не дал семь гривен
Я ей тогда, и на сто лет
Вперед открыла бы гадалка
Число мной съеденных котлет!..)
Еще нас развлекала галка,
Что прыгала среди сорок
На улице, и поросенок,
На солнце гревшийся, спросонок,
Как новоявленный пророк,



Перед театром лежа, хрюкал;
Затем я помню, вроде кукол
Туземных барышень; затем,
Просыпывая горсти тем,
Сажусь не в городские санки,
А в наш каретковый возок,
И, сделав ручкой черепанке,
Перекрестясь на образок,
Лечу на сумасшедшей тройке
Лесами хвойными, гуськом,
К заводской молодой постройке
С Алешей, сверстником-князьком!

9

Уже проехали Нелазу,
За нею Шулому, и вот,
Поворотив направо сразу,
Тимошка к дому подает
Не порожнем, а с седоками...
В сенях встречают нас гурьбой,
С протянутыми к нам руками,
Снимая шубы, девки-бой.
Мы не озябли: греет славно
Тела сибирская доха!
Нам любопытно и забавно
Шнырять по комнатам. Уха
С лимоном, жирная, стерляжья,
Припомидорена остро.
И шейка Санечки лебяжья
Ко мне сгибается хитро.
И прыгает во взорах чертик,
Когда она несет к столу
Угря, лежащего, как кортик,
Сотэ, ризото, пастилу!

10

Был повар старший из яхт-клуба,
Из английского был второй.
Они кормили так порой,
Что можно было скушать губы...
Паштет из кур и пряженцы;
И рябчики с душиком, с начинкой,
Икрой прослоенной, пластинкой



Филе делящей; варенцы;
Сморчки под яйцами крутыми;
Каштаненные индюки;
Орех под сливами густыми,—
Шедевры мяса и муки!..
Когда, бывало, к нам на Суду
In согроге *, съезжался суд,
В пустую не смотрел посуду:
Все гости пальцы обсосут,
Смакуя кушанья, бывало,
И, уедаясь до отвала,
С почтеньем смотрят на сосуд,
В котором паровую стерлядь
К столу торжественно несут...
Но и мортира ведь ожерлить
Не может большего ядра,
Чем то, каким она бодра...
Так и желудок — как мортира —
Имеет норму для себя...
Сопя носами и трубя,
Судейцы,— с лицами сатира,
Верблюда, кошки и козла,—
Боясь обеденного зла,
Ползут по комнатам на отдых,
Валясь в истоме на кровать,
И начинают горевать
О мене сытых, боле бодрых
Обедах в городе своем,
Которых мы не воспоем...

11

Но как же проводил я время
В присудской Сойволе своей?
Ах, вкладывал я ногу в стремя,
Среди оснеженных полей
Катаясь на гнедом Спирютке,
Порой, на паре быстрых лыж,
Под девий хохоток и шутки,—
Поди, поймай меня! шалишь! —
Носился вихрем вдоль околиц;
А то скользил на лед реки;

* В полном составе (лат.). — Ред.



Проезжей тройки колоколец
Звучал вдали. На огоньки
Шел утомленный богомолец,
И вечеряли старики.
Ходил на фабрику, в контору,
И друг мой, старый кочегар,
Любил мне говорить про пору,
Когда еще он не был стар.
Среди замусленных рабочих
Имел я множество друзей,
Цигарку покрутить охочих,
Хозяйских подразнить гусей,
Со мною взросло покалякать
О недостатках и нужде,
Бесслѣзно кой-о-чем поплакать
И посмеяться кое-где...

12

Наш дом громадный, двухэтажный, —
О грусть, глаза мне окропи! —
Был разбревенчатым, с Колпи
На Суду переплавлен. Важный
И комфортабельный был дом...
О нем, окрест его, легенды
Передавались, но потом,
Во времена его аренды
Одной помещицей, часть их
Перезабылась, часть другую
Теперь, когда страх в сердце стих,
Я вам, пожалуй, отолкую:

В том доме жили семь сестер.
Они детей своих внебрачных
Бросали на дворе в костер,
А кости в борах чердачных
Муравили. По смерти их
Помещик с молодой женою
Там зажил. Призраков ночных
Вопль не давал чете покою:
Рыдали сонмы детских душ,
Супругов вопли те терзали, —
Зарезался в безумьи муж
В белоколонном верхнем зале;
Жена повесилась. Сосед



Помещика, один крестьянин,
Рассказывал жене Татьяне:
«По вечерам, лишь лунный свет,
Любви и нечисти рассадник,
Дом озаряет, — на крыльцо
Брильянтовый въезжает всадник,
Лунеем мертвое лицо...»

13

И в этом-то трагичном доме,
Где пустовал второй этаж,
Я, призраков невольный страж,
Один жил наверху, где, кроме
Товарищей, что иногда
Со мной в деревню наезжали,
Бездушье полное. Визжали
Во мне все нервы, и, стыда
Не испытав пред чувством страха,
Я взрослых умолял: внизу
Меня оставить, но грозу
Встречая, шел наверх, где плаха
Ночного ужаса ждала
Ребенка: тени из угла
Шарахались, и рукомойник,
Заброшенный на чердаке,
Педалил, каплил: то покойник,
Смывая пятна на руке
Кровавые, стонал... В подушку
Я зарывался с головой,
Боясь со столика взять кружку
С животворящею водой.
О, если б не тоска по маме
И не ночей проклятых жуть,
Я мог бы, согласитесь сами,
С восторгом детство вспомнать!
Но этот ужас беспрестанный,
Кошмар, наряженный в виссон...
Я видел в детстве сон престранный...
Не правда ли, престранный сон?

14

Так я лежу в своей кровати,
Дрожа от ног до головы.
Прекрасны днями наши святки,



А по ночам — одно «увы».
Людской природы странно свойство:
Я все ночное беспокойство
При первых солнечных лучах
Позабываю. Весь мой страх
Ночной мне кажется нелепым,
И я, бездумно радый дню,
Над дико страшным ночью склепом
Посмеиваюсь и труню.
Взяв верного вассала — Гришку,
Мы превращаемся в «чертей»
И отправляемся вприпрыжку
Пугать и взрослых, и детей.
Нам попадаются по группам
Другие ряженные, нас
Пугая в свой черед, как раз,
И, знаете ли, в этом глупом
Обычае — не мало крас!
Луна. Мороз. И силы вражьи —
В интерпретации людской
Рога чертей и рожи яжьи,
Смешок и гутор воровской...
Хвостом виляя, скачет княжич, —
Детей заводских будоражич, —
Трубя в охотничий рожок,
И залепляет свой снежок
В затылок Гришке-«дьяволенку»,
Преследующему девчонку,
Кричащему, как истый бес,
Враг и науки, и небес...

15

Без нежных женственных касаний
Душа — как бессвятынный храм,
О горничной, блондинке Сане,
Мечтаю я по вечерам.
Когда волнующей походкой
Идет мне стлать постель она,
Мне мнится: в комнату весна
Врывается, и с грустью кроткой
Я, на кушетке у окна
Майн Ридовскую «Квартеронку»
Читавший, закрываю том,
С ней говоря о сем-о том,



Смотря на спелую коронку
Ее прически под чепцом
«Белее снега». И лицом
Играя робко, но кокетно,
Она узор любви канвит,
Смеется взрывчато-ракетно,
Приняв задорно-скромный вид.
Теперь, спустя лет двадцать, в сани
Высоком, зная любовь княгинь,
Я отвожу прислуге Сани,
Среди былых моих богинь,
Почетное, по праву, место,
И здесь, в стране приморской эста,
Благодаря, быть может, ей,
Согревшей нежной лаской женской
Дни отрочества, все больней
Мечтаю о душе вселенской
Великой родины своей!

16

Давали право мне по веснам
Увидеть в Петербурге мать,
И я, послав привет свой соснам,
Старался пароход поймать
Ближайший, неся через Рыбинск,
Туда, к столице на Неве.
Был детский лик мой обулыблен,
Скорбящий вечно о вдове
Замужней, все отдавшей мужу —
И положенье, и любовь...
Но, впрочем, кажется, я уж
Чего не следует... Голгофь
Себя, Голгофе обреченный!
Неси свой крест, свершай свой труд!
Есть суд высоко-вознесенный,
Где все рассудят, разберут...


17

Пробыв у мамы три недели,
Я возвращался, — слух наструнь! —
На Суду, где уже Июнь
Лежал на шелковой постели
Полей зеленых, и, закрыв



Глаза, в истоме, на обрыв
Речной смотря, стонал о неге,
И, чувственную резеду
Вдыхая, звал в полубреду
Свою неясную. Побег
Травинок, ставшие травой,
Напомнили мне возраст мой:
Так отроком ставал ребенок.
И солнце, чей лучисто-звонок
И ослепителен был лик,
Смеялось слишком откровенно
И поощрительно: воздвиг
Кузине Лиле вдохновенно,
Лучей его заслышав клик,
В душе окрепшей, возмужалой,
Любовь двенадцатой весны, —
И эта-то любовь, пожалуй,
Мои оправдывала сны.
— Я видел в детстве сон престранный —
Своей ненужной глубиной,
Своею юнью осиянной
И первой страстностью больной...

Жемчужина утонков стиля,
В теплице взрощенный цветок,
Тебе, о лильчатая Лиля,
Восторга пламенный поток!
Твои каштановые кудри,
Твои уста, твой гибкий торс —
Напоминает мне о Лувре
Дней короля Louis Quatorze *.
Твои прищуренные глаза —
...Я не хочу сказать глаза!.. —
Таят на дне своем экстазы,
Присудская моя лоза.
Исполнен голос твой мелодий,
В нем — смех, ирония, печаль.
Ты — точно солнце на восходе
Узыв в болезненную даль.
Но, несмотря на все изыски,



* Людовика Четырнадцатого (фр.). — Ред.

Ты сердцем девственно проста.
Классически твои записки,
Где буква каждая чиста.
Любовью сердце оскрижалась,
Полно надзвездной синевы.

19

Весною в Сойволу съезжались
На лето гости из Москвы:
Отец кузины, дядя Миша,
И шестеро его детей,
Сказать позвольте, обезмыша,—
Как выразился раз в своей
Балладе старичок Жуковский,—
И обесстенив весь этаж,
Где жить, в компании бесовской,
Изволил в детстве автор ваш.
Затем две пары инженеров,
Три пары тетушек и дядь...
Ах, рыл один из них жене ров,
И сам в него свалился, глядь!..

Тогда на троечной долгуше
Сооружались пикники.
Когда-нибудь в лесные глуши
На берегах моей реки,
По приказанью экономки,
Грузили на телегу снедь.
А тройка, натянув постромки,
Туда, где властвовал медведь,
Распыливалась. Пристяжные,
Олебедив изломы шей,
Тимошки выкрики стальные
Впивали чуткостью ушей.
Хрипели кони и бесились,
Склоняли морды до земли.
Струи чьего-то амарилис
Незримо в воздухе текли...
В лесу — грибы, костры, крошоны
И русский хоровой напев.
Там в дев преображались жены,
Преображались жены в дев.
Но девы в жен не претворились,



Не претворялись девы в жен,
Чем аморальный амарилис
И был, казалось, поражен.

20

Сын тети Лизы, Виктор Журов,
Мой и моей Лилит кузэн,
Любитель в музыке ажуров,
Отверг купеческий безмен:
Студентом университета
Он был, и славный бы юрист
Мог выйти из него, но это
Не вышло: слишком он артист
Душой своей. Улыбкой скаля
Свой зуб, дала судьба успех:
Теперь он режиссер «La Scala»
И тоже на виду у всех...
О мой Vittorio Andoga!
Не ты ль из Андоги возник?..
Имел он сеттера и дога,
Охотился, писал дневник.
Был Виктор страстным рыболовом:
Он на дощанике еловом
Нередко ездил с острогой;
Лая изрядно гордых планов,
Ловил на удочку паланов;
Моей стихии дорогой —
Воды — он был большой любитель,
И часто белоснежный китель
На спусках к голубой реке
Мелькал: то с удочкой в руке
Он рыболовить шел. Ловите
Момент, когда в разгаре клёв!
Благодаря, быть может, Вите,
И я — заправский рыболов.
В моей благословенной Суде —
В ту пору много разных рыб,
Я, постоянно рыбу удя,
Знал каждый берега изгиб.
Лещи, язи и тарабары,
Налимы, окуни, плотва.
Ах, можно рыбою амбары
Набить, и это не слова!..
Водились в Суде и стерлядки,



И хариус среди стремнин...
Я убежал бы без оглядки
В край голубых ее глубин!
...О Суда! Голубая Суда,
Ты, внучка Волги! дочь Шексны!
Как я хочу к тебе отсюда
В твои одебранные сны!..

21

Был месяц, скажем мы, центральный,
Так называемый — июль.
Я плавал по реке хрустальной
И, бросив якорь, вынул руль.
Когда развесельная стихла
Вода, и настоялась тишь,
И поплавок, качаясь рыхло, —
Ты просишь: «И его остишь!» —
В конце концов на месте замер,
Увидел я в зеркальной раме
Речной — двух небольших язей,
Холоднокровных, как друзей,
Спешивших от кого-то в страхе;
Их плавники давали взмахи.
За ними спешно головли
Лобастомордые скользили,
И в рыбьей напряженной силе
Такая прыть была. Вели
Сорожек, точно на буксире,
И, помню, было их четыре.
И вдруг усасть черный черт
Чуть не уткнулся носом в борт,
Свои усища растопырив,
Усом задев мешок с овсом:
Полуторасаженный сом.
Гигант застыл в оцепененьи,
И круглые его глаза,
С моими встретясь на мгновенье,
Поднялись вверх, и два уса
Зашевелились в изумленьи,
Казалось — над открытым ртом...
Сом ждал, слегка руля хвостом.
Я от волненья чуть не выпал
Из лодки и, взмахнув веслом,
Удары на него посыпал,



Идя в азарте напролом.
Но он хвостом по лодке хлопнул
И окатил меня водой,
И от удара чуть не лопнул
Борт крепкий лодки молодой.
Да: «молодой». Вы ждете «новой»,
Но так сказать я не хочу!
Наш поединок с ним суровый
Так и закончился вничью.

22

Как девушка передовая,
Любила волны ячменя
Моя Лилит и, не давая
Ей поводов понять меня
С моей любовью к ней, сторожко
Душой я наблюдал за ней,
И видел: с Витею немножко,
Чем с прочими, она нежней...
Они, годами однолетки,
Лет на пять старшие меня,
Держались вместе, и в беседке,
Бальмонтом Надсона сменя,
В те дни входившим только в моду
«Под небом северным», природу
Любя, в разгаре златодня
Читали часто, иди в лодке
Катались вверх за пару верст,
Где дядя строил дом, и прост
Был тон их встреч, и нежно-кротки
Ее глаза, каким до звезд,
Казалось, дела было мало:
Она улыбочиво внимала
Одной земле во всех ее
Печалях и блаженствах. Чье,
Как не ее боготворенье
Земли передалось и мне?
И оттого стихотворенья
Мои — не только о луне,
Как о планете: зачастую
Их тон и чувствённый, и злой,
И если я луну рисую,
Луна насыщена землей...
Изнемогу и обессилю,



Стараясь правду раздобыть:
Как знать, любил ли Витя Лилю?
Но Лиля — Витю... может быть!..

23

Росой оранжевого часа,
Животворяща, как роса,
Она, кем вправе хвастать раса, —
Ее величье и краса, —
Ко мне идет, меня олиля,
Измиловав и умиля,
Кузина, лильчатая Лиля,
Единственная, как земля!
Идет ко мне навверх, по просьбе
Моей, и, подойдя к окну,
Твердит: «Ах, если мне пришлось бы
Здесь жить всегда! Люблю весну
На Суде за избыток грусти,
И лето за шампанский смех!..
Воображаю, как на устьи
Красив зимы пушистый мех!» —
Смотря в окно на синелесье,
Задрапированная в тюль,
Вдыхает: «Ах, Мендэс Катюль...»
И обрывает вдруг: «Ну, здесь я...
Ты что-то мне сказать хотел?..»
И я, исполнен странной власти,
Ей признаюсь в любви и страсти
И брежу о слияньи тел...
Она бледнеет, как-то блёкнет,
Улыбку болью изломав,
Глаза прищуря, душу окнит
И шепчет: «Милый, ты не прав:
Ты так любить меня не можешь...
Не смеешь... ты не должен... ты
Напрасно грезишь и тревожишь
Себя мечтами: те мечты,
Увы, останутся мечтами, —
Я не могу... я не должна
Тебя любить... ну, как жена...» —
И подойдя ко мне, устами
Жар охлаждает мой она,
Меня в чело целуя нежно,
По-сестрински, и я навзрыд



Рыдаю: рай навек закрыт,
И жизнь отныне безнадежна...
Недаром мыслью многогранной
Я плохо верил в унисон,
Недаром в детстве сон престранный
Я видел, вещий этот сон...
Настанут дни — они обманут
И необманные мечты,
Когда поблекнут и увянут
Неувяданные цветы.
О, знай, живой: те дни настанут,
И всю тщету познаешь ты...
Отрадой грезил ты, — не падай
В уныньи духом, подожди:
Неугасимою лампадой
Надежда теплится в груди,
Сияет снова даль отрадой,
Любовь и Слава — впереди!

ЧАСТЬ III

1

Для всех секрет полишинеля,
Как мало школа нам дает...
Напрасно, нос свой офланеля,
Ходил в нее я пятый год:
Не забеременела школа
Моим талантом и умом,
Но много боли и укола
Принес мне этот «мертвый дом»,
Где умный выглядел ослом.
Убого было в нем и голо, —
Давно пора его на слом!

2

Я во втором учился классе.
Когда однажды в тарантасе
Приехавший в Череповец,
В знак дружбы, разрешил отец
Дать маме знать, что если хочет
Со мною быть, ее мы ждем.
От счастья я проплакал очи!



Дней через десять под дождем
Причалил к пристани «Владимир»,
И мамочка, окружена
Людьми старинными своими,
Рыдала, стоя у окна.
Восторги встречи! Радость детья!
Опять родимая со мной!
Пора: ведь истекала третья
Зима без мамочки родной.
Отец обширную квартиру
Нам нанял. Мамин же багаж
Собой заполнил весь этаж.
О, в эти дни впервые лиру
Обрел поэт любимый ваш!
Шкафы зеркальные, комоды,
Диваны, кресла и столы —
Возили с пристани подводы
С утра и до вечерней мглы.
Сбивались с ног, служа, девчонки,
Зато и кушали за двух:
Ах, две копейки фунт печенки
И гривенник — большой петух!..
И та, чья рожица омарья
Всегда растянута в ухмыл,
Старушка, дочка пономарья,
Почти классическая Марья,
Заклятый враг мочал и мыл,
Была довольна жизнью этой
И объедалась за троих,
«Пашкет» утрамбовав «коклетой»
На вечном склоне дней своих...
Она жила полвека в доме
С аристократною резьбой.
Ее мозги, в своем содоме,
Считали барский дом избой...
И ногу обтянув гамашей,
Носила шляпу-рвань с эспри,
Имела гномный рост. «Дур-Машей»
Была, что там ни говори!
Глупа, как пень, анекдотична,
Смешила и «порола дичь»,
И что она была типична,
Вам Федор подтвердит Кузьмич...



...Ей дан билет второго класса
На пароходе, но она,
Вся возмущенье и гримаса,
Кричала: «Я пугаюсь дна, —
Оно проломится ведь, дно-то!
Хочу на палубу, на свет...» —
Но больше нет листков блокнота,
И, значит, Марьи больше нет...
Был сын у этой «дамы», Колька,
Мой сверстник и большой мой друг.
Проказ, проказ-то было сколько,
И шалостей заклятый круг!
Однажды из окна гостиной
Мы с ним увидели конька,
Купив его за три с полтиной
У рыночного мужика.
Стал ежедневно жеребенок
Ходить к нам во второй этаж...
Ах, избалованный ребенок
Был этот самый автор ваш!
С утра друзья мои по школе,
Меняя на проказы класс,
Сбегались к нам, и другу Коле
Давался наскоро заказ:
Купить бумагу, красок, ваты,
Фонарики и кумача,
И, под мотивы «Гайаватты»,
Вокруг Сашутки-лохмача,
Кружились мы, загаром гнеды,
Потом мы строили театр,
Давая сцену из «Рогнеды», —
Запомни пьесу, психиатр!..
Горя театром и стихами,
И трехполтинными конями,
Я про училище забыл,
Его не посещая днями;
Но папа охладил мой пыл:
Он неожиданно нагрянул
И, несмотря на все мольбы,
Меня увез. Так в Лету канул
Счастливый час моей судьбы!
А мать, в изнеможеньи горя,
Взяв обстановку и людей,
Уехала, уже не споря,
К замужней дочери своей.



О, кто на свете мягче мамы?
Ее душа — прекрасный храм!
Копала мама сыну ямы,
Не видя вовсе этих ям...

3

Ту зиму прожил я в деревне,
В негодовании зубря,
По варварской системе древней,
Все то, что все мы зубрим зря.
Я алгебрил и геометрил.
Ха! Это я-то, соловей!
О счастье! Я давно разветрил
«Науки» в памяти своей...
Мой репетитор, Замараев,
Милейший Николай Ильич,
Все больше терся у сараев,
Рабочему бросая клич
Объединенного Протеста,
За что лишился вскоре места:
Хотя отец — и либерал,
Но бунт на собственном заводе
Несносен в некотором роде:
Бунт собственника разорял.
«Бунтарь» уволен. Математик
На смену вызван из Твери.
Он больше был по части «Катек»,
Черт математика дери!
Любила тетка преферансы, —
Учитель был ее партнер.
А я слагал в то время стансы,
Швырнув учебник за забор.
Так целодневно на свободе
И предоставлен сам себе,
Захлебывался я в природе,
Сидел у сторожа в избе,
Кормил коней, влюблялся в Саню,
Читал, что только мог прочесть...
Об этом всем теперь романю,
А вас прошу воздать мне честь!

4

Учительского персонала
Убожество не доканало



Меня лишь оттого, что взят, —
Пусть педагоги не грозят! —
Я был отцом из заведенья,
Когда за год перед войной
Русско-японской, он со мной
Уехал, потерпев крушение
В заводском деле, на Квантун,
Где стал коммерческим агентом
В одном из пароходств. Бастун
Спасительным экспериментом
Еще не всколыхнул страны:
Ведь это было до войны.

5

Мы по дороге к дяде Мише
(Он в Серпухове жил тогда)
Весной, когда в Оке вода,
Бесчинствуя, вздымалась выше
Песчано-скатных берегов,
Заехали на две недели,
И там я позабыл о цели
Пути, и даже был готов
С собой покончить: угодили
Мы, страшно молвить, к свадьбе Лили...
На фабрике громадной ткацкой
Директорский имея пост,
Михал Петрович, добр и прост,
Любил отца любовью братской.
Его помощник, инженер,
Был женихом моей кузины, —
Поклонник рьяный хабанер,
Большой знаток своей машины,
Предобродушнейший хохол
И очень компетентный химик,
На голове его хохол
Не раз от трудолюбья вымок...
Жених хохлацки грубоват,
Но Лиля ведь была земною,
И разве муж был виноват,
Что сделалась его женою
Лилиесердная Лилит?
Летит любви аэролит.
Поберегись-ка ты, прохожий:
Ты выглядишь, как краснокожий,



Когда аэролит летит...
Но я... но я не поберегся.
И что же? Сердца краснота
Вдруг стала закопченной кокса,—
Гарь эта временем снята...
Теперь, пролетив четверть века,
Сменяет лирику сарказм.
Тогда же я рыдал до спазм.
От боли был почти калека...
Вспеняя свадебный фиал
И пламную эпिताламу
Читая, я протестовал.
Из пира чуть не сделал драму...
Перед отъездом видеть маму
Мне не дали, и, сев в экспресс,
Умчались мы к горам Урала.
Душа, казалось, умирала,
Но срок истек — и дух воскрес!

6

Ах, больше Крыма и Кавказа
Очаровал меня Урал!
Для большей яркости рассказа
На нем я сделаю привал.
В двух-трех словах, конечно, трудно
Воспеть красоты этих гор.
Их тоны сине-изумрудны:
На склонах мачтовидный бор.
Круты олесненные скаты,
Стремглавы шустрые ручьи.
В них апельсиновые закаты
Студят дрожащие лучи.
Вздываются державно сопки,
Ущелья вьются здесь и там;
Но мы в вагоне, как в коробке,
И потому могу ль я вам
Сказать достойно об Урале,
Чего он вправе ожидать?
Молниеносно промелькали
Мы гор Урала благодать.
И мимо чукча, мимо чума,
Для рифмы вспомню про имбирь,
По царству бывшему Кучума



Перемахнули всю Сибирь!
Я видел сини Енисея,
Тебя, незлобивая Обь.
Кем наша матушка-Рассея,—
Как несравнимая особь,—
Не зря гордится пред Европой;
И как судьба меня ни хлопай,
Я устремлен душою всей
К тебе, о синий Енисей!

Вдоль малахитовой Ангары,
Под выступами скользких скал,
Неслись, тая в душе разгары;
А вот — и озеро Байкал.
Пред ним склонен благоговейно,
Теряю краски и слова.
Пред строгой красотой бассейна
Взволнованного божества.
Святое море! Надо годы
Там жить, чтоб сметь его воспеть!
Я только чую мощь природы...
Ответь когда-нибудь, ответь
Моей душе, святое море,
Себя воспеть мне силы дай!
В твоём неизмеримом взоре
Я грежу, отражен Алтай...
Манчжурия, где каждый локоть
Земли — посевная гряда,
В нее вонзён китайский ноготь
Эмблемой знойного труда...
Манчжурия! Ты — рукотворный
Сплошной цветущий огород.
Благословен в труде упорный
Твой добродетельный народ.
И пусть в нем многое погано,
Он многие сердца привлек,
Когда, придя к ногам Хингана,
В труде на грудь твою возлег...
Кинчжоу, узкий перешеек;
За ним, угрюмец и горюн,
Страна сафирных кацавеек,
В аренду нанятый Квантун
На девяносто девять весен
Портсмутским графом, центр смут.



Вопрос давно обезвопросен:
Ответ достойный дал Портсмут...

7

Мы в Дальнем прожили полгода,
И, трафаретно говоря:
«Стояла дивная погода»
От мая вплоть до декабря.
Я был японкою Кицтаки
Довольно сильно увлечен:
С тех пор мечтать о Нагасаки
Пожизненно я обречен...
И пусть узнает мой биограф,
Что был отец ее фотограф,
А кем была Кицтаки-мать —
Едва ль сумею вам сказать...
Когда, стуча на деревяшках,
Она идет, смотря темно,
Немного сужено на ляжках
Ее цветное кимоно.
Надменной башенкой прическа
Приподнялась над головой;
Лицо прозрачней златовоска;
Подглазья с темной синевой.
Благоухает карилопсис
От смутного атласа рук.
Любись и пой, и антилопся,
Кицтаки, желтолицый друг!..

В костюме белопарусинном
В такой же шляпе и туфлях,
Я шел в Китайский парк пустынный
Грустить о северных полях...
И у театра Тифонтая
Почти в тропической жаре,
Ложился на траву, мечтая
О вешней северной заре...
Любуясь желтизной зеленой
Воды, чем славен Да-Лянь-Вань,
Вдыхая воздух вод соленый,
Пел Сканды северную ткань
Текучую. У Балтиморья
Скоплялись мысли и мечты.



Так у Квантунского нагорья
Мечтал с утра до темноты.
Вода Корейского залива
Влекла в Великий океан,
В страну, где женщина — как слива...
Вдали белел Талиенван,
Напоминая о боксерском
Восстании: днях, когда хунхуз,
В своем остервенении зверском,
Являлся миру из обуз
Едва ль не самую ужасной,
Когда, — припомни, будь так добр, —
Его смиряли силой властной
Суда: «Кореец», «Сивуч», «Бобр».

У нас был «бой» в халате ватном.
Весь шелковый и голубой,
Ах, он болтал на непонятном
Китайском языке, наш «бой».
Китаец Ли — веселый малый,
Мы подружиться с ним могли,
И если надо, что ж, пожалуй,
Я вспомню и китайца Ли.
Мы с ним дружили, но китаец
Однажды высмеял мой флаг.
Он в угол загнан мной, как заяц,
И мой почувствовал кулак:
«Герой» ему вцепился в косу
И, подтолкнув его к откосу,
На нем патриотизм излив,
Чуть не столкнул его в залив.
На вопли Ли сбежались кули,
О чем-то с жаром лопоча,
Но я взревел! И точно пули,
Они «задали стрекача»...
Мы вскоре с боем помирились,
Вновь дружба стала голуба.
Мне в нос всплывал не амарилис,
А запах масла из боба...

Вот в это время назревала
Уже с Японией война.



И, крови жажда, как вина,
Мечтали люди — до отвала
Упиться ею: суждена
Людскому роду кровь в напиток, —
Ее на свете ведь избыток.
И людям просто пир не в пир,
Коль не удастся выпить крови...
Как не завидовать корове:
Ведь ей отвратен лязг рапир!

Туман сгущался, но, рассеяв
Его, слегка поколебал
Наместник царский, Алексеев,
Угрозу битв, устроив бал,
В противовес всему унынию.
Тогда в кипящий летний зной
Над всею необъятной синью,
Верней сказать: над желтизной, —
Красавец-лебедь, мелких бурек
Не замечавший в громе бурь,
Наш броненосный крейсер «Рюрик»
Взвывает гордо флаг в лазурь.
К нему вперед пуская катер,
Припятитрубился «Аскольд»,
От «Рюрика» встав на кильватер.
И увертюрой из «Rheingold»
На крейсере открытие бала
Оповещают трубачи.
Как он, потомок Ганнибала,
Я бал беру в свои лучи.

9

К искусственному водопаду
На палубе подвешен трап.
Всю ночь танцует до упаду
Веселья добровольный раб:
Будь это в Ницце ли, в Одессе ль,
Моряк — всегда, везде моряк!
И генерал приморский Стессель
Шлет одобрительный свой «кряк».
И здесь же Старк и Кондратенко,
И Витгефт с Эссенем, и Фок,
И мичманов живая стенка,



И крылья, крылья дамских ног!
Иллюминированы киоски,
Полны мимоз и кризантэм.
По рейду мчатся миноноски
С гостями к балу между тем.
Порхают рокотно ракеты,
Цветут бенгальские огни.
Кокеток с мест берут кокеты...
А крейсер справа обогни,
И там, у Золотого Рога,
Увидишь много-много-много
И транспортов, и крейсеров
В сиянии тысяч огоньков...
Тут и «Паллада», и «Боярин»,
И тот, чье имя чтит моряк,
Чей славный вымпел оалтарен,
В те дни обыденный «Варяг».
«Аскольд» поистине аскольдчат.
Вокруг хрустят осколки фраз
И в дальнем воздухе осколчат
Мотивы разных «*Pas de grâse*»...
Военной строгости указки
Бросает в воду вальса тур.
Эскадра свой справляет праздник,
И вместе с ней весь Порт-Артур.
В серебряных играет жбанах
Шампанское, ручьем журча,
В литаврах звон, а в барабанах —
Звяк шпор весеннего луча!
Замысловатых марципанов
Полны хрустальные блюда,
И лязг ножей, и звон стаканов,
И иглы «ягодного льда»...
Какой бы ни был ты понурик,
Не можешь не взнести бокал,
Когда справляет крейсер «Рюрик»
В ночь феерическую бал!..

10

За месяц до войны не вынес
Тоски по маме и лесам,
И, на конфликт открытый ринясь,
Я в Петербург уехал сам,



Отца оставив на чужбине,
Кончающего жизнь отца.
Что мог подумать он о сыне
В минуты своего конца,
В далекой Ялте, в пансионе?
Кто при его предсмертном стоне
Был с ним? кто снес на гроб сирень?
На кручах гор он похоронен
В цветущий крымский майский день.
Я виноват, и нет прощенья
Поступку этому вовек.
Различных поводов скрещенье:
Отца больного раздраженье,
Лик матери и голос рек,
И шумы северного леса,
И шири северных полей —
Меня толкнули в дверь экспресса
Далекой родины моей.
Чтоб целовать твои босые
Стопы у древнего гумна,
Моя безбожная Россия,
Священная моя страна!





ПАДУЧАЯ СТРЕМНИНА

РОМАН В 2-х ЧАСТЯХ

ПРОЛОГ

Кто говорит, что в реках нет форелей,
В лугах — цветов, а в небе синевы,
У арфы — струн, у пастухов — свирелей?
Кто говорит, не знаете ли вы?

Кто говорит, что в песне нет созвучий,
В сердцах — любви, а в небе — нереид,
Что жизнь — пустой, нелепый только случай?
Не знаете ли вы, кто говорит?

Да только тот, кто чужд душой искусству,
Фантазии, любви и всплеску вод,
Кто не дает в груди развиваться чувству
И гонит прочь его, — да, только тот.

* * *

И лишь поэт, безвозрастный ребенок,
Юродивый, блаженный и пророк,
Чья мысль свята, чей слух прозрачно-тонок,
Кто знает путь в заоблачный чертог.

О, лишь поэт, вседневно ждущий Чуда,
Печальное увидевший в смешном,
Великое в ничтожном, в царстве блуда
Услышавший моления о ином.

Лишь он один владетель душ народа
Постиг, взойдя на нерушимый трон,
Какую мощь таит в себе природа,
Каким бы сам ничтожным ни был он.



Ничтожны все, рожденные в убогом
И бренном мире нравственных калек,
Но в миг, когда поэт стал полубогом,
Остался человеком человек.

* * *

И в этом их различье. Так для света
Нередко трудно вникнуть в суть стихов:
Ведь для того, чтоб воспринять поэта,
Необходимо знать язык богов.

Ему нельзя в земной учиться школе,
Недопустим для смертных и Парнас,
В лесу, в горах, в степях и в поле
Познать язык возможно, не учась...

И в светлый миг, когда познают люди
Язык богов, смысл мира станет прост.
Нежней цветов вздохнут тогда их груди
И засияют взоры ярче звезд.

Так пусть молчат прозаики-невежды.
Ах, не для них и святость, и краса,
Блажен, неугасающий надежды:
Он уготован видеть чудеса!

* * *

ЧАСТЬ I

В год первой революции на дачу
Мы в Гатчину поехали. Весною
Произошла Цусима. Катастрофа
Нежданная совсем меня сразила:
В ту пору я большим был патриотом
И верил в мощь любимой мной эскадры.
Я собирал коллекцию из снимков
Судов всех флотов; на почетном месте,
Примерно вымпелов сто девяносто,
Висел на стенке русский флот, причем
Разделены суда все по эскадрам:
Из Балтики, левой — из Черноморья
И Тихоокеанская. Тогда мне
Лишь восемнадцать было лет. В ту пору



Мои стихи рождались под влияньем
Классических поэтов. Декаданс
Был органически моей натуре,
Здоровой и простой по существу,
Далек и чужд. На графе Алексее
Толстом и Лермонтове вырос я.
Итак, мы жили в Гатчине: я, мама
И старая прислуга, пятьдесят
Лет жившая у нас. Ее ребенком
Лет девяти, не больше, взяли в дом.
Я Гатчину люблю: ее озера —
Серебряное, с чем тебя сравню?
И Приорат, и ферма, и зверинец,
И царский парк, где павильон Венеры,
Не нравиться не могут тем, кто любит
Действительно природу, но, конечно,
Окрестности ее, примерно Пудость,
Где водяная мельница и парк
С охотничьим дворцом эпохи Павла
Гораздо ближе сердцу моему.
Но эту местность я узнал позднее,
Спустя почти что год. Другое лето
Я проводил, само собой понятно,
Уже на мельнице. Однако это
Я расскажу впоследствии. Тоска,
Терзавшая меня в связи с Цусимой,
Мне не давала наслаждаться летом
И даже парк тогда мне был не в парк.
Мы в Петербург уехали в июле,
Ни с кем знакомства не приобретя,
И если позабыть о Тимофее,
О старом дачном дворнике, пожалуй,
И вспомнить это лето будет нечем.

Но Тимофея позабыть нельзя.
И я сейчас вам объясню причину:
Я, как-то разговаривая с ним,
Обмолвился о скуке. Пригласил он
Меня к себе. Я, с детства демократ,
Зашел к нему однажды. Проболтали
До позднего мы вечера. В беседе
Бутылку водки выпили. Со Златой,
Своей дочерью, он познакомил.
Ей тоже восемнадцать лет. Блондинка,
Высокий рост и чудный цвет лица.



Она вернулась вечером с работы
И, поклонясь слегка, прошла в каморку
К себе. Я мельком на нее взглянул,
Но все же различить успел и свежесть
Ее лица, и красоту походки,
И общее изящество. Не странно ль,
Но сразу я почувствовал влечение
К той девушке. Я больше не встречал
Ее ни разу в это лето. Вскоре
Уехали мы в город.

* * *

В сентябре

В осенний парк поэта потянуло,
И я поехал в Гатчину. Весь день
Я пробродил в безлюдном Приорате,
А к вечеру зашел и к старику,
К отцу красивой дочери. Приветлив
Он был со мной и чаем угостил.
И в этот раз мы выпили изрядно
Убийственно-живительного зелья.
Я вскользь спросил о Злате, но она
Уж месяц, как уехала работать.
И в Петербурге у портнихи модной,
Вблизи Стремянной улицы жила.
Ее же сестры — Маша, Анна, Лиза
И Феня — находились при отце.
Две первые, замужние, имели
Уже детей по два-четыре года.
И красотой совсем не отличались.
Но Лиза, младше Златы, миловидный
Утонченный и хрупкий был ребенок,
Которому двенадцатый шел год.
И крошка Феня, шустрая резвунья,
Была мила; ей было только семь.
Два месяца еще прошло. Настала
Зима, — мне захотелось в зимний парк.
Ах, Гатчина, излюбленное место
Моих прогулок на норвежских лыжах,
Музей моей весны, как я однажды
Назвал тебя в одной поэме, много
Ты говоришь душе моей и сердцу!



Люблю благословенно повторять
Упругое и звучное название.
Ах, Гатчина, какая ты теперь?
Боюсь подумать. Скройся, злободневность,
Минувшего собой не оскверняй!
И в этот раз зашел я к Тимофею
Из парка отдохнуть и посидеть;
Зашел к нему я в полдень отогреться:
Мороз трещал румяно на дворе.
Все были дома: было воскресенье,
И, как приятный для меня сюрприз,
Приехала из Петербурга Злата,
Одетая со вкусом, очень просто,
Она играла с маленькою Феней
И весело шутила. Я, любуясь,
Невольно засмотрелся на нее.

Она мгновенно взгляд мой уловила,
Слегка смутилась, волосы оправив,
И скромно села к чайному столу.
Я после чая предложил ей вместе
Со мною в парк пройтись; она охотно
Без всякого ломанья согласилась.
И, говоря вполне непринужденно,
Мы с ней прошли, так молодо смеясь.
О белый снег, холодный и пушистый,
О, старый парк, дремотный и тенистый,
О первая священная любовь!

* * *

Да, верил я тогда в предназначенье,
Во вдохновенность встреч, в любовь такую,
Которая охватывает вдруг
Всего-всего, безразумно владея
И сердцем и душой. Интуитивно
Я понял вдруг, что Злата неспроста
Мне встретилась, а послана судьбою.
И к девушке присматриваться зорче
Я стал тогда, и вот что я заметил:
Под кажущимся внешним оживленьем
Таилась в ней какая-то печальность,
Какая-то неясная мне боль.



Я подошел к ней осторожно,
И, тронутая ласковым участием,
Мне девушка доверчиво открылась.

* * *

«Я вижу, человек вы благородный,—
Так начала свое повествование,—
И с вами познакомиться отрадно,
Поверьте, было мне, но не сердитесь,
Таится в этом маленькое „но“:
Раз вы хороший, добрый, честный, чистый —
А в этом я хочу не сомневаться,—
Как вы могли, как только вы решились
С моим отцом поддерживать знакомство?
Вы юноша еще, почти ребенок,
И всячески вам надо опасаться
Дурных влияний, и людей порочных,
Испорченных, стараться избегать.
А мой отец (Господь, прости мне эти
Для дочери опасные слова!)
Пропойца, негодяй, он нехороший,
Нечестный человек. Вы пьете с ним.
При том, мне кажется, гораздо больше,
Чем следует; не глупо ль прозвучало,
Что следует пить водку, эту мерзость,
Губящую как тело, так и дух?
Я — враг ее: она мне причинила
Так много горя; матери моей
Ускорила кончину, потому что
Отец мой, вечно пьяный, поведением
Бессовестным ее в могилу свел.
Я — враг ее, а раз отец — пропойца,
Естественно, что и ему я враг.
И если вы действительно хотите
Мне другом быть, не пейте больше, милый,
И не ходите в этот дом проклятый,
Где нераздельно властвует вино».

* * *

Мы долго в этот вечер говорили
И с каждой фразой думами сближались,
Бродя сначала зимним Приоратом,
А под вечер по улицам-аллеям,



Залитым электрическим сияньем
И занесенным белым покрывалом.
Снег сыпался, и, в отблесках фонарных,
Любовь в глазах у Златы расцветала;
В своих глазах любви не мог я видеть,
Но девушкины очи говорили
Так ясно мне, что и в моих глазах
Заметили они расцвет любовный.
Я этого не чувствовать не мог.
С последним поездом мы возвратились
В столицу, я отвез ее до дома
И, слово взяв встречаться и по почте
Беседовать, отправился к себе.

* * *

В те годы я бывал ежевечерне
В театрах, преимущественно в Зале
Консерватории, где Церетели
Держал большую оперную труппу.
Я музыку боготворю не меньше
Поэзии, и удивляться надо ль,
Что посещение оперы являлось
Потребностью моей необходимой.
В сезон поста великого, у Гвиды
Я слушал итальянцев с упоеньем.
По воскресеньям даже дважды в день я
Ходил в театр: и вечером, и утром.
Нечасто исполняемые пьесы
Давались там: «Германия» Франкетти,
«Заза» Леонковалло, «Андриена
Де Лекуврэр» синьора Чилеа,
Там удалось прослушать «Джиоконду»,
Чтоб временно увлечься Понкиелли,
Где так неподражаем Титто Руффо...
Да, имена там были звездоносны:
Певала там и Лидия Берленди,
И Баронат, и Гай с Пеллингиони,
И Арнольдсон с Ансельми, Баттистини,
И Собинов, и Фигнер, и Клементьев.
Липковская там делала карьеру,
И Монска промелькнула метеором,
И упояла нас колоратурой
В «Титании» кудесница Ван-Брандт.
Она была великою малюткой,



И это имя — целая эпоха
В моих переживаниях музыкальных.
И Мравина Евгенья Константинна,
Моя сестра троюродная, Сказка,
Снегурочка и Жаворонок Вешний,
В тот год дала прощальный свой концерт,
Заканчивая деятельность грустно,
С печатью смерти, со следами прежней,
Блистательной когда-то красоты.
Со мной в театр ходить любила Злата,
И юная старушка «Травиата»
Сближала нас немало, слава ей!
И как бы «Травиату» ни бранили
За ветхость, примитивность и слащавость,
Не поддаваться чарам этих звуков
Не в силах я и «слабостью» горжусь:
Любя ее до дней своих последних,
Я этим самым верен милой Злате,
И, отдавая должное Пуччини
И Дебюсси, я Верди не отверг.

* * *

По вечерам, когда она кончала
Работу в мастерской, я приходил к ней
И дожидал у лестницы. Она
Спускалась вниз. Я целовал ей руки,
Заглядывал в глаза и, повторяя
В восторге имя, сладостное слуху,
И плакал, и смеялся, как дитя...
О, как она была нежна со мною,
Моя подруга, золотая Злата!
Как глубоко и солнечно любила,
Во всем меня оправдывая вечно!
Мы с нею шли по улицам бесцельно,
Но и бесцельный путь был полон цели:
Он вел к вершинам чувства молодого,
И в этом крылась благодатная цель.
Так мы встречались часто, но и писем
Немало посылали мы друг другу,
И, если же собрать теперь, поэма
Моя, пожалуй, станет бесконечной,
И не ее ли письма неземные,
Земной рукой написанные, дали



Тебе, о Русь, жемчужную поэзу:
«Не может быть! вы лжете мне, мечты!»

* * *

Я беден был. Я жил на средства дяди.
Он маме ежемесячные суммы
До дня, когда мне счастье улыбнулось,
Переводил корректно-аккуратно,
Но переводы были так мизёрны,
А жизнь в столице не была дешевой.
Сестра, имея дом свой, нам квартиру
Давала gratis и немного денег.
Я беден был, но поступать на службу
Упорно избегал: дух канцелярий
Был для меня, свободного, противен.
И чувствовать начальство над собою
Казалось мне позорным униженьем,
Но мамочка всегда со мной делилась
Последним и, отказывая часто
Себе в необходимом, доставляла
Возможность посещать театр и книги
Приобретать. Мне было лет 16,
Когда приехал к маме я с Квантуна,
Где в Порте Дальнем больше полугода
С больным отцом провел. Он после в Ялту
Один уехал, и весной четвертой
Столетия нового, во время русско-
Японской бойни, умер от нефрита.
Замечу между прочим, что в реальном
Еще учась, стал собирать я книги.
В два года, проведенных в Петербурге,
Мне удалось, томов в пятьсот, любовно
Составить библиотеку, где были
Все классики и много иностранных
Фантастов с Мариэттом во главе.
Я к фантастической литературе
Питал с младенчества большую склонность —
За благородство бедных краснокожих,
За чистоту отважных амазонок,
За красоту тропической природы,
За увлекательный всегда сюжет.
Густав Эмар, Майн Рид, Жюль Верн и Купер,
Андре Лори, Люи де Буссенар



И Памбертон... не вам ли я обязан
Живою фавулой своих стихов?
Но Эдгар По, Джек Лондон с Конан Дойлем
Меня не увлекали никогда.
Из мистиков любил я Метерлинка
И в Лохвицкой улавливал его
Налет. Из скандинавов Генрик Ибсен
Едва ль не первый эго-футурист.
Оскар Уайльд и Бернард Шоу явно
Влиянье оказали на меня.
Из классиков Тургенев с Гончаровым
Излюблены мной были: русских женщин
Они познали сущность. Мопассан
Гуманность воспитал во мне, и Пушкин
Мой дух всегда заботливо яснил.
Благодаря хождениям постоянным
По операм и к музыке влечение
Мои стихи исполнены мелодий.

* * *

Я беден был — душа была богата.
Я счастлив был: меня любила Злата,
Но с ней разлука мучила меня,
И то, что приходилось ей работать,
Чтоб жить самой и помогать сестричкам,
Меня терзало непрестанно. Мне
Хотелось жить с ней вместе, но на это
Изрядно много денег было нужно:
К себе же взять в квартиру не решался,
Боясь ее подвергнуть оскорблениям
Не матери, конечно, нет — она
Меня любила слишком беззаветно,
Да и воспитана была прекрасно.
Боялся я другого: муж сестры
И экономка, — их квартира выше
Над нашей этажом, — могли принудить
Мою сестру лишить квартиры маму
За потаканье всем моим причудам.
Да и сама бы Злата, я уверен,
От этого проекта отказалась.
Она была горда, самолюбива,
И «сесть на шею», выразясь вульгарно,
К моей старушке-матери, понятно,



Ее натура ей бы воспретила.
Жениться же на ней, сказать по правде,
Мне было дико и смешно немного
Не оттого, что я боялся шага
Подобного, и просто оттого лишь,
Что не имел в виду работы вскоре,
Не знал, какие ждут меня успехи.
В литературе жил подобно птичке —
Ну, кратко говоря, я был поэт!

Моя сестра единственная Зоя,
От брака мамы первого, любила
Искусство во всех отраслях, имела
Абонемент в Мариинском театре,
А Фофанов и Лохвицкая были
Всегда ее настольными томами.
И под ее внимательною лаской
В версификации я упражнялся.
Она внимала очень благосклонно
Моим довольно смелым упражнениям
И всячески их нежно поощряла.
Моя сестра единственная Зоя
Имела мужа, чуждого духовно,
Поручика саперного в отставке,
В которого в семнадцать лет влюбилась
Неопытную девушкой, — но после,
Я думаю, но я не утверждаю, —
К избраннику немного охладела,
Поближе разглядев его никчемность.
Но никогда не показала виду,
Что может быть несчастной, беззаветно
Всю отдала себя на счастье мужу.
Была высоконравственной при этом,
И никогда никто не мог услышать
От Зоечки ни жалобы, ни слова
Неудовольствия своею жизнью:
Она была весьма самолюбива
И гордо замкнута. Моя сестра
Имела дом вблизи Морской и дачу
Под Обоянью, но богатой вовсе
Ее я не решился бы назвать.
Да, мне добра она всегда желала,
Но, будучи воспитана иначе,
Чем я, условностям дань отдавая,



Не все во мне оправдывала: то уж,
Что я слонялся целый день без дела
И попадал под скверные влиянья
Людей, подчас совсем иного круга,
Стал попивать нередко, не имея
Ни денег, ни занятий, было ей
Довольно неприятно, и могу ли
За это осудить мою сестру?
Не в этом дело все-таки, и ближе
Я буду к цели, если я замечу,
Что Клавдия Романовна, сначала
В дни Зоиною детства, гувернантка,
А после брака — в доме экономка,
Игравшая большую роль в семье,
Совместно с мужем сестриным старались,
Протестности моей мне не прощая
И недолюбливая за насмешки
Над ними, нас поссорить, чтобы Зоя
Поставила мне строгий ультиматум,
Как старшая, замужняя сестра:
Принять как-либо место, благо много
Протекции имелось, иль учиться,
Чтобы экстерном выдержать экзамен
И получить, как паспорт мэра, ценз.
При этом мне советовалось — вовсе
Знакомства прекратить с родными Златы,
И даже, правда, очень деликатно,
Сквозил намек, что мне она «не пара»
И ничего хорошего не выйдет
Из нашей с нею дружбы и любви.
О, я не внял ничьим, ничьим советам
И продолжал по-прежнему знакомство
С тем, с кем хотел, на поле развивая
Большой и независимый талант.
И в этом направлении, как и прежде,
Меня всегда любовно поощряла
Моя сестра единственная Зоя.

* * *

Я беден был, и чем я был беднее,
Тем больше мне хотелось жить, и я
Решил во имя торжества весенней
Любви, большую жертву принести.



Послушайте, не смейтесь, для поэта
И юноши пятсот переплетенных
В сафьян и коленкор томов, любимых
Писателей, продать — не жертва ль это?
Лишиться их в один несчастный день,
Не с детства чуть ли книги собирая,
Еженедельно с них стряхая пыль,
Не жертва разве? Как для вас — не знаю,
Но для меня был труден этот шаг.
И вот из Александровского рынка
Позвать велел я Марье букиниста,
И библиотеку, тоскуя, продал
За... семьдесят рублей! На эти деньги
Я нанял Злате комнату поближе
К себе и стал с утра к ней ежедневно
Ходить и с нею проводить все дни.

* * *

О, в пятом этаже на Офицерской
Вблизи Казанской части уголок!
Пою тебя восторженно и звонко,
И вдохновенно светятся глаза!
Что книги мне! Ах, что мне все на свете!
Я приобрел подругу целиком!
Она мне в этой комнате убогой
Впервые отдалась, такое счастье
Мне подарив, какому больше в жизни
Уж повториться не было дано!
Такое счастье, что и мне, поэту,
Волхву чудесных слов и выражений,
Словами невозможно передать!
Такое счастье сильное, большое,
Живое, неповторное такое,
Что даже страшно, как могу на свете
Еще я жить, то счастье потеряв!
Такое счастье, истинное счастье,
Которое спустя шестнадцать весен
И разлюбив с тех пор полсотни женщин,
Испытываю всей своей душой!
Такое счастье ярко-золотое,
Что и теперь его припоминая,
Я жмурить принужден глаза мечты,



Иначе сердце может разорваться.
Иначе я с ума сойду — такое,
Такое счастье мне дала она!

* * *

Все это продолжалось три недели,
И деньги были прожиты. Достать их
Старался тщетно: неоткуда было.
Чего не передумал в это время,
Выискивая способы! Подруга
Решительно противилась, жалея
Меня всем сердцем, и нашла работу,
На все мои мольбы не обращая
Вниманья, у придворной генеральши.
Я до пяти часов ее не видел
И приходил к моменту возвращения
Ее с работы. Было очень больно,
Что ей помочь ничем не мог. Да, Злата
В иных условиях сделала бы имя
На попроще каком-нибудь другом.
Она была способной, развитой,
Недюжинною девушкой. Тем хуже,
Что был я так преступно легкомыслен.

* * *

К концу Поста приехал из именья
В столицу дядя Миша по делам.
Он пригласил меня к себе поехать
Встречать совместно Пасху. Вся семья,
За исключением дочери замужней,
Моей кузины Лили, собралась
В усадьбе. Я любил край новгородский,
Где отрочество все мое прошло.
Я с радостью поехать согласился,
Но больно было мне расстаться с Златой
На две недели. Ехать вместе с нею
Увы, не мог, условности мешали:
Она была любовницей моею,
А не женой. В семье же дяди строго
К безбрачью относились. Я в смущеньи



Довольно долго колебался. Видя
Мое желанье ехать, деликатно
Она пошла навстречу мне, здоровье
Мое найдя расшатанным немного
И деревенский воздух мне полезным.

* * *

Мы были к утру на лазурной Суде.
От станции верстах в семи, не больше,
Именье дяди, при впадении Кемзы
В мою незаменимую реку.
Лиловый дом на берегу высоком,
Вокруг глухие хвойные леса.
Мои кузены — Кока и Володя —
Любили спорт в его разнообразье:
С утра мы с ними бегали на лыжах,
Спускаясь к рекам с берега крутого,
Днем запрягали в санки «Сибарита»
Иль «Верочку» и мчались в Заозерье,
И вместе с нами мчался темный лес.
Я вспоминал свою любовь былую,
Любовь души двенадцативесенней
К другой душе пятью годами старше, —
Я вспоминал любовь к кузине Лиле,
Смотря на эти милые когда-то
По детским впечатлениям места.
Не странно ли, они не волновали
Меня, как раньше: полон был я Златой
Физически, духовно — целиком,
Она прислала мне письмо, в котором,
Благословляя нежно-матерински,
Писала, что заказчица на лето
Решила ехать в Гатчину, где дачу
Уже нашла себе, что, понимая
Мою любовь к природе, Злата тоже
Поедет с нею, но не будет вместе
На даче жить, а комнату подыщет,
Чтоб навещать ее мне было лучше.
«А ты, — она писала, — с мамой в Пудость
На лето наезжай, там есть форели,
И лодка, и река, и все, что надо
Тебе иметь, да и ко мне поближе



От Гатчины — четвертая верста».
Как раз кончались праздники, и вскоре
Я возвратился в строгий Петербург.
Идет весна в сиреневой накидке,
В широкой шляпе бледно-голубой.
И ландышей невидимые струйки
Бубенчиками в воздухе звучат.
Она, смеясь, мои щекочет нервы,
Кокетничает мило и остро,
Вплетает в грезы нежно пасторали
Весенней сельней прелести полям,
Цветет лугами, птичками щебечет,
Она — полувиденье, полуявь...
Я к ней спешу и золотою Златой
Вдруг делается юная весна,
Идущая в сиреневой накидке,
В широкой шляпе бледно-голубой.

* * *

На следующий день по возвращеньи
Я за город пошел из Петербурга
С утра пешком, здесь были две причины:
Во-первых, доказать хотел я Злате
Свою любовь, которой не опасна
Ни удаль сорокатрехверстной пыльной
Экскурсии по шпалам, ни затрата
Энергии, чтоб с нею повидаться;
А во-вторых, подчеркивал я этим
Торжественность и трогательность встречи,
Как бы уподобляясь пилигриму,
Спешащему благоговейно в Мекку.
Я шел Балтийской линией. Мой отдых
Был в Дудергьере, сладостно-картинном,
У озера, похожего на лужу.
Потом я шел на Тайцы, встретил Пудость
Впервые на пути своем, где речка
Ижорка малахитовой водой
Своей меня совсем зачаровала
И где я мимоходом нанял дачу.
Я к девяти был в Гатчине у Златы,
Которая от радости свиданья
Нежданного, узнав еще вдобавок,



Что я пришел пешком к своей любимой,
Сначала как-то вся оцепенела
На миг, затем с рыданиями на шею
Мне бросилась, лицо мое целуя
И хохоча сквозь слезы, от восторга.
Как ласково она меня кормила!
Как радостно она меня встречала!
Любовно на руках своих качала...
Я голову склонил к ней на колени.
Она меня баюкала и, близко
Склонясь, в глаза мучительно смотрела:
«О неужели можем мы расстаться
Когда-нибудь?» — она шептала тихо.
И я, сражен недопустимой мыслью,
Отчетливо сказал: «Не бойся, Злата,
Пока я жив, всегда с тобой я буду».
О горе мне: я клятвы не сдержал!

* * *

Я приезжал к ней часто. Переехав
На дачу вскоре, чуть не ежедневно
С ней виделся. Так ярко сохранилось
Одно в блестящей памяти свиданье,
Единственное в некотором роде.
Однажды, нагулявшись вдоволь в парке,
Мы с ней пошли к Варшавскому вокзалу.
Она меня на поезд провожала
Последний, шедший ночью в Петербург.
Была пора истомная июня,
Цвела сирень, певучая чарунья,
И, в станционном садике гуляя,
Мы сели на скамейку над прудом.
Сплошной стеной цветущей и душистой
Заботливо кусты сирени влажной
От публики нас отделяли. Злата!
Ты помнишь ли сиреневую ночь?
Лобзаньям нашим счет велся ли в небе?
Что ж нам теперь его не предъявляют?
В уплату жизнь пришлось отдать бы! Злата!
Ты помнишь ли сиреневую ночь?
Любовью и сиренью упоенье,
Угар и бред, и снова поцелуи,



И полугрусть, и радость, и тревогу,
И иступленность ласк... О Злата, Злата!
Ты помнишь ли сиреневую ночь?
Соединив в лобзании наши лица
В душистую сиреневую влагу
Бросали опьяненные... О Злата!
Ты помнишь ли, ты помнишь ли ту ночь?
Ты не могла забыть ее, я знаю
И каждый год тебя благословляю,
Предчувствуя грядущую сирень!

* * *

На дачу переехав, первым делом
Я начал строить небольшую лодку
По собственному плану. Наш хозяин
Крестьянин Александр Степаныч, плотник
Был превосходный. Через две недели
Она была совсем уже готова.
С каютой парусиновой и с носом,
Остро и резко срезанным, похожа
Была своей конструкцией на крейсер.
Я дал название ей — «Принцесса Грёза».
Она предназначалась мной для наших
Прогулок по Ижорке. Так для Златы
Был приготовлен маленький сюрприз.
Мне флаг она впоследствии в подарок
Андреевский, морской, своей работы,
Преподнесла, и я его хранил
До своего отъезда из России.

* * *

Белеет ночь изысканно больная,
Мистическая, призрачная ночь.
Вздыхает Май, невидимый для глаза,
И отдыхает, лежа перед дальним
Путем на юг до будущей весны.
Июль во всем: и в шепоте дремотном
Зеленых струй форелевой реки,
И в золотисто-желтых неньюфарах,
И в еле уловимых тайных чарах



Пьянительного воздуха ночного,
И в поволоке ненаглядных глаз.
Она поет вполголоса, склоняя
Свое лицо к волне, то сразу резко
Ко мне свои протягивает руки
И прижимает к пламенной груди
Меня, в уста целуя бесконечно,
То шепчет еле слышно, с тихой грустью,
Исполнена мучительных предчувствий:
«О, неужели можем мы расстаться
Когда-нибудь?» — и горько, горько плачет.
Вдали дворец нахмурен обветшалый
И парк, — из кедров, лиственниц и пихт, —
На берегу реки затих. Он грезит
Пирами императора, когда
Безумствовал державный неврастеник
В тени его приманчивых ветвей.
Как говорит преданье, Павел Первый
В болезненных неистовствах был страшен
И убивал опальных царедворцев
Во время вспышек злой неврастении.
И знает кто? Быть может, эти вопли
Нетопырей, летающих над речкой,
Невинно убиенных голоса?
Шумит, шумит падучая стремнина.
Бежит, бежит зеленая волна.
Из-под плотины с брызгами и пеной
Река кристально чистая течет.
Стремительным течением влекома,
К водовороту льнет «Принцесса Грёза».
Задержана умелою рукою,
Как перышко, отпрядывает вспять.
Прозрачно дно реки. Бесшумной стрелкой
То там, то здесь фунтовые форели
Скользят в воде, и сердце рыболова
В томленье сладком только замирает.
Ночь белая, форели, зелень струек
И веянье невидимых жасминов,
И лирикой насыщенные речи, —
Как обаятельна на этом фоне
Неповторимая вовеки Злата!
Из Гатчины, куда к ней ежедневно
Почти ходил, ночами возвращался,
И каждый раз до самой нашей дачи
Меня моя подруга провожала.



Потом мы с нею шли на полустанок,
И в поезде, идущем на рассвете,
Она спешила прямо на работу.
Когда она спала? К моим молениям —
Беречь себя — она была глухою.

* * *

Кончался август. На «Принцессе Грёзе»
Я быстро плыл на почту к полустанку,
И под мостом чуть было не наехал,
С разлета, на застрявшую там лодку,
В которой было трое пассажиров:
Одна из них была совсем старухой,
Была другая девочкой-подростком,
А третья дамой лет под двадцать семь.
Последняя веслом старалась тщетно
От сваи оттолкнуться. Видно было,
Что лодка их засела очень прочно,
Попав на камень, скрытый под водою.
Я к ним подъехал и по-джентельменски
Им помощь предложил свою, и дамы
Рассыпались в признательности: странным
Казалось им их положение. Быстро
Подъехав задним ходом к ним кормою,
Я на буксир взял лодку их, и тотчас
Та с камня соскользнула. Все случилось
На протяжении нескольких мгновений.
Средь шуток, сопряженных с катастрофой,
Я с ними познакомился, и Дина,
Сидевшая на веслах, оказалась
Любезной, интересною брюнеткой,
Кокетливой, веселой и пикантной.
В деревню мы уже вернулись вместе,
Причем их лодка о бок шла с моею.
Прощаясь, тетка Дины приглашала
Бывать у них, а Дина благодарно
Мне крепко руку сжала и глазами,
Что я понравился, красноречиво
И выразительно дала понять.

* * *



Я вечером сидел, читая в лодке,
И грезил, как всегда, о милой Злате,
Которую я в этот день не видел.
Испуганно я вздрогнул, пробужденный
От грез своих: красивое контральто
Нарушило мечты мои: «О ком вы
Мечтаете и не меня ли ждете?»
То новая моя знакомка Дина
Подъехала бесшумно в лодке и, швартуясь
У борта «Грёзы», вкрадчиво спросила:
«Переходите же ко мне скорее,
И поплывем куда-нибудь подальше:
Я вас сведу на остров отдаленный,
На остров голубой и доброй Феи».
По правде говоря, я растерялся
От неожиданного появления
Ее у нашей пристани, и прыгнул,
Почти не рассуждая, к ней. Плутовка,
Довольная моим повиновеньем,
Лукаво улыбаясь, протянула
Капризным жестом руку, и поплыли
Мы по реке на отдаленный остров.

* * *

Не добрая и голубая фея
Владела этим островом, а злая
Коварная, дурманящая разум.
И было имя этой феи — Бред.
И мы подпали под ее влияние.
Мы покорялись всем ее причудам,
Безвольными игрушками мы стали
Бесчисленных эксцессов развращенной
Жестоко-похотливой феи Бред.
Я был в бреду: мне диким не казалось,
Что женщина, душе моей чужая,
Меня целует судорожно в губы,
Принадлежащие совсем другой.
И с широко раскрытыми глазами,
В которых пышет явное безумье,
Мне говорит: «Хочу тебя! Ты — мой!»
В тот миг мне это диким не казалось
И не могло казаться: в опьяненьи



Разгулом звучно-чувственных эксцессов,
Я потерял способность рассуждения.
Будь проклят остров чувственной колдуньи
И ты, мне адом посланная встреча,
И обольстительная фея Бред!
Из-за тебя я потерял невинность
Своей души, незыблемую верность
Одной, одной! Я спутницу утратил
Незаменимую родную Злату.

* * *

То был сигнал к грехопаденьям сладким.
Так начался мучительный роман.
Я был в бреду, но в проблесках сознания,
Рыдал, в ожесточении проклиная
Себя за слабость, каялся, и Злате,
В пречистое лицо смотреть не смея,
Готов убить был ветреную Дину.
Однако, только слышал шелест платья,
Соблазнами насыщенного, только
Глаза ее, искавшие моих,
Прищуривались наглым обещаньем
Невероятно-извращенных ласк,
Я забывал про все, и к ней в объятья
Бросался, как в кипучий водопад.
Я круто прекратил бывать у Златы,
Не отвечал на письма, сильно запил,
Страдая, упивался новой страстью.
Совсем запутался в противочувствах.
И вскоре переехал с дачи в город,
Где с Диной всю осень провозился,
Когда она, найдя в кафе-шантане
Ангажемент, уехала в Архангельск.
А в октябре пришла ко мне внезапно,
С трудом в себе побарывая гордость,
Проститься — мной утерянная Злата.
«Родной мой, я пришла к тебе проститься,
Не говори, избавь от объяснений.
Не надо их: мне слишком больно, милый.
Ты прав всегда, неправым быть не можешь.
Не надо оправданий, чтобы ложью
Не осквернял ты уст своих правдивых.



Прости меня за дерзость: я не это
Сказать хотела: лгать ты не умеешь.
Ты прав всегда, и ты всегда мне дорог.
Ты честный, чудный, чистый, справедливый.
Во всем виновна только я: я грубо
Нарушила, родной, твое доверье:
Тебе я изменила пятикратно.
Прости меня, молю, тебе я больно
Своим признанием делаю, любимый.
Но я такая грязная. Мне дурно.
Дай мне воды, пожалуйста. Спасибо.
Я гадкая, я скверная. Не стою
Тебя совсем. Родной мой, я проститься
К тебе пришла сказать, что неизменно
И несмотря на все свои паденья,
Люблю тебя. Благословенье Божье
Да будет над тобой. Прости от сердца
Меня, и я уйду с твоей дороги».

* * *

Какую боль она мне причинила
Своими сердце рвущими словами!
Как я ее на миг возненавидел
И, проклиная, в ослепленьи гнева
Занес над нею руку, чтоб ударить
В лицо красивое и дорогое
Но я сдержался и, в изнеможеньи
Заплавав горько, жалобно, по-детски,
Упав к ее ногам, молил вернуться
И восклицал: «Неправда! О, неправда!
Ты на себя клеветешь! Невиновна
Ты в возведенных на себя поступках.
Скажи мне, успокой, что ты все та же
Моя непогрешимая, святая...
Вернись ко мне...» Но скорбно головою
Склоненная, она сказала: «Нет,
Я не вернусь, я не могу вернуться:
Я — падшая!..» — и, не окончив фразы,
В рыданьях содрогнулась над столом.
Я восклицал: «Не верю! Быть не может!
Ты — чище чистоты самой. Но если —
Хотя я этого не допускаю —



И изменяла мне, о, неужели,
Любя тебя, я не найду прощенья
И оправдания в сердце, жившем только
Тобой одной, тем более, что сам я
Действительно преступен пред тобою?!»
Я Злате рассказал о встречах с Диной
В подробностях во всех чистосердечно,
Молил ее, — была неумолимой.
И, о любви своей твердя упорно,
Меня благословив, простив и плача,
Она ушла — и погрузилась ночь.

О Боже! Упокой в раю лазурном
Классическое счастье, что убито
Разнузданными чувствами моими.
И легкомыслие мое, и юность,
И слабость пред соблазном оправдай.
О Боже! Упокой в раю лазурном
До твоего пришествия второго
Все наши речи нежные, все мысли,
Друг другу предназначенные, радость
Свиданий вешних, ночи съединений
И душ, и тел по Твоему завету.
Любви же нашей Ты, о милосердный,
Великий Бог, свершивший чудо встречи
Двух половин единственной души,
Дай вечно жить и сотвори ей память
На веки вековечные. Аминь.

* * *

ЧАСТЬ II

Моя сестра единственная Зоя
Скончалась девятьсот седьмой весною,
Молниеносным цереброспинальным
Смертельным менингитом сражена.
Ей было только тридцать два, и эта
Внезапная нелепая кончина
Произвела большое впечатление
На всю семью и всех знакомых наших,
Ее любивших искренне. Сраженный
Несчастьем, я забыл совсем и думать,
Что умерла она без завещанья,



И потому наследства я лишился:
Дом перешел к двоюродному брату,
Имущество ведь было родовое.
Мы с мамой переехали немедля
В излюбленную Гатчину на дачу.
Светлейшая грузинская княгиня,
Рожденная немецкая графиня,
Две комнаты сдала в своей квартире.
Она была художницей. Любила
Искусство, но была «toquее» немного.
Притом нередко сильно выпивала.
Лет сорока сановника вдовою
Оставшись, замкнуто, уединенно
На пенсии жила. Ее рассказы,
Исполненные образности, дали
Впоследствии мне тему для поэзы.
Она ко мне весьма благоволила.
И часто с нею сидя на балконе,
Беседовали мы до поздней ночи.
Но беспокойный княжеский характер
И постоянные ее причуды
На нервы наши, Зоечкиной смертью
Расшатанные, действовали скверно,
И через две недели, вняв советам
Знакомого профессора, мы с мамой
Себе другую дачу подыскали,
Покинув ее сумрачную Светлость.

* * *

Тогда к нам часто приезжали гости.
Профессор пенья, древний киевлянин,
Противник существующей системы
Горизонтальной нотной, реформатор
С проектом вертикальных начертаний,
Фанатик проводимой им идеи;
И штаба генерального полковник,
Спирит и мистик, Зоечку любивший,
Так безнадежно в культ воздвигший имя
Ее, к нам приезжал еженедельно;
Затем подруга Зои, институтка,
Большая меломанка и лингвистка,
Эстетка Александра Алексанна,



Моих прогулок спутница, природу
Красиво понимающая, тоже
Гостила в это лето две недели.

* * *

Однажды с ней, направляясь к Приорату,
Мы шли по городу. У госпитáля
Дворцового я встретил даму в черном,
Которая, завидев в отдаленьи
Меня, внезапно круто повернула
И прочь пошла знакомою походкой;
Узнал я в даме Злату. Дорогая,
Что побудило новое страданье
Мне причинить? Зачем ты отвернулась
От любящего сердца? Ах, в то время
Ты мне была особенно желанна:
С кончиной Зои круг друзей по духу
Вновь сузился, и ты была так кстати.

Я чуткой Александре Алексанне,
Участливо спросившей о печали,
Поведал скорбное повествованье
Нарушенного встречей с Диной счастья.
Над озером мы долго с ней сидели.
И гладила она мне мягко руки,
И траур по моей сестре носимый
Так свято ею, одухотворенный
Прелестный тонкий профиль оттеняя
И делая лицо ее бледнее,
Являл печали олицетвореньем
Изысканную строгую фигуру.
Она меня любила, мне казалось
Уже давно, и, может быть, признанья
Мои ей тоже причинили боль.

* * *

До октября мы прожили на даче
И с камеристкой фрейлины царицы,
С шатенкой Лизой, девушкою стройной,
Живущей рядом с нами, как-то ночью



У нас в саду я встретился в предгрозые
И познакомился непринужденно.
Мы стали с ней друзья. Она в минуту
Свободную шла в сад ко мне, и часто
В беседах проводили мы все ночи.
Она была тогда уже невестой,
Но чувствовала сильное влечение
Ко мне и дружбу. Даже целовала
Меня не раз, но чистым поцелуем.
И никогда у нас не возникало
Предположенья сблизиться телесно.
Я после приезжал к ней даже в гости
И с ней встречаться было мне отрадно:
Она была хорошим человеком.

* * *

Я получил письмо по почте. Зина,
Сестра певички Дины, та, что в лодке,
На камень севшей, девочкой-подростком
Была мне обозначена, свиданье
На набережной, у Канавки Зимней,
Мне назначала. Жил я одиноким,
Ведя отшельнический образ жизни,
Лишь в опере по-прежнему бывая.
Но, новым сердцем заинтересован,
Пошел охотно выслушать мотивы,
В нем ныне возникающие смутно.
В семнадцать лет она была блондинкой
Миниатюрной, полной, не лишенной
Пленительности. Очи голубые
Смотрели так безгрешно и открыто.
Ноябрьский снежный вечер над Невою
Уже сгустил свой лиловатый сумрак.
И возвещали дальние куранты
Грядущий час вечернего гулянья.
Меня остановила Зина первой, —
Рассеянно, чуть не прошел я мимо.
Мы прогуляли с нею целый вечер,
И от нее я выслушал признанья
В любви давнишней, «с первого же взгляда».
Она жила одна у старой тетки,
Вдовы какого-то там адвоката.



Мне Зина приглянулась, и тогда же
Я предложил ей переехать в Пудость.
Она охотно сразу согласилась.
И вскоре мы поехали в деревню,
Где Александр Степаныч, тот крестьянин,
Что строил мне мою «Принцессу Грёзу»,
В своей избе возвел перегородку
(Большая дача не имела печек),
И Зина поселилась там в уюте
И теплоте, а я из Петербурга
В неделю раза два к ней начал ездить.

* * *

Любил ли я ту девочку? Конечно.
Я всех любил по-своему. И как бы
Я мог брать женщин без любви взаимной?
Единственной любовью и бессмертной,
И неизменной, я любил лишь Злату,
И к ней любовь — с другими нет сравнений.
Но ведь из этого не вытекает,
Как следствие, что я остался верен
В отсталом смысле лишь одной, и сердце
Свое живое умерщвлял ненужным
Ни мне, ни Злате воздержаньем страсти
И нежности. Без женственных касаний
Моя душа художника зачахла б.
Мне с Зинойчкой уютно было: томной
Она окутала меня любовью.
И я любил ленивые движенья
И теплоту ее объятий сильных.
Она была земною, равнодушной
К искусству и мещанкой в полном смысле.
Но все же с нею изредка приятно
Встречаться было мне.

* * *

Полковник Дашков,
Спирит и мистик, Фофанова стансы
Одни, любимые моей сестрою,
Напомнил невзначай и предложил мне



Поехать, познакомиться с поэтом,
В то время жившим в Гатчине. Мы к Зине
Заехали позавтракать, с собою
Слеурова корзину взяв с мадерой
И разными закусками. Оттуда
Пошли мы лесом в сумерки к поэту.
...Шлагбаум. Рельсы. Старая часовня.
Ноябрьский вечер. Звезды и луна.
Навстречу мужичок в тулупе теплом,
Дубленом, в валенках, в лохматой шапке.
— «Не знаешь ли, любезный, где живет тут
Писатель Фофанов?» — Проникновенный
Взгляд мужичка на нас из-под очков
И еле уловимая усмешка:
«Я — Фофанов»...

* * *

О, Константин Михалыч!
Да разве вас забыть я в состояньи?
Ведь вы такая прелесть, в самом деле! —
Герой, пророк и русский мужичок,
И с головы до ног поэт великий!
Герой вы потому, что не страшились
«Великих мира брэнного сего»,
И хлесткие, и злые эпиграммы
Говаривали часто в лица людям,
Стоявшим у кормила черной власти.
Пророк Вы, потому, что предсказали
Мне будущность мою, ее предвидя,
Не ошибаясь в людях, с кем случилось
Встречаться вам на жизненном пути.
И потому Вы мужичок российский,
Что, им родясь, гордясь происхожденьем
Своим, Вы все условности отвергли
И своему мужицкому наряду
Остались верны в простоте душевной.
Поэт Вы потому, что Вы... поэт!

* * *

Он нас повел к себе, где познакомил
С женой и сыном Костей. Этот мальчик



Впоследствии Олимпов, футурист,
Сошел с ума, когда отец скончался.
Пункт — мания величия. Вырожденцем
Он несомненно был. Его мне жаль.
Детей всех было девять. Я их знаю.
Мне больше нечего о них сказать.
Жена поэта Лидья Константинова,
Седая в сорок лет, производила
Тяжелое, болезненное впечатление:
Она пила запоем и держала
Себя совсем безнравственно. Не должен
Я это скрыть — совсем наоборот.
В причинах, право, трудно разобраться.
То ли поэт споил подругу, — то ли
Она его — судить об этом трудно.
Несчастливая семь раз с ума сходила.

* * *

Восторженно приветствовал Поэта
Во мне экстазный Фоганов! И в первый
Знакомства день мне посвятил акростих.
Четыре года с этих пор мы были
Знакомы с ним. Его я видел разным:
Застенчивым, когда бывал он трезвым,
Нередко гениально вдохновенным,
В минуты опьянения невозможным:
И наглым, и воинственным, и зверским.
Но все же доброта его бесспорна,
Талантливость ярка и разум ясен.
Он написал мне двадцать посвящений,
Гостил по дням, не пил, случалось, вовсе,
Причем дырой зияла эта трезвость
На нашей жизни, и ее чинили
Надежною заплатой опьянения.
Чинили мы, как истые поэты,
Ухабно карусельные попойки.

* * *

По-прежнему меня тянуло к Злате,
По-прежнему исполнен был я ею,



О чем твердят весьма красноречиво
Того периода мои поэзы.
И вот, не в силах сдерживаться больше,
Попал я как-то снова к Тимофею,
Спросить его о ней мне захотелось,
Прочувствовать ушедшее былое,
Возникшее у дворника в подвале.
Знакомая прекрасно обстановка
Отчаянье такое всколыхнула
Во мне, что стал я пить, и в результате
Допился до потери представленья,
Где я, зачем и что со мной... В разгаре
Попойки (видно, было так угодно
Судьбе моей) раскрылась дверь и Злата
Предстала перед нами на пороге.
Я смутно понимал тогда; однако
От встречи получилось впечатленье
Тяжелое: любимая, сначала
Застывшая безмолвно и с тоскою
Смотревшая на оргию, вдруг резко
Какое-то ударное по сердцу
В негодованьи бросила мне слово
И скрылась, хлопнув дверью возмущенно.
Та встреча предпоследней оказалась.
Спустя семь лет мы встретились в последний,
Последний раз — на несколько минут.

* * *

Опять весна, вторая после счастья,
Испытанного с вечно дорогой.
Опять весна пришла, и сердце снова
Упилося пламным солнечным вином.
Опять сморчков коричневые губки
Набухли на опушке лесовой.
Опять подснежники заголубели,
И вся земля опять пошла вверх дном.

С Перунчиком, поэтом-анархистом,
Моих же лет, с которым я случайно
У Фофанова сблизился весною,
Уехали мы в Пудость, где избушку
На курьих ножках сняв, ловили рыбу,
Мечты, стихи и девок деревенских.



Еще в начале года я расстался
С любовницей третьей: поведенье
Ее меня принудило. Хозяин
Избы такие сообщил мне вещи,
Что поступить иначе я не мог бы.

* * *

Кума Матрена (с нею мы крестили
У лодочного мастера ребенка)
По вечерам в избу к нам забежала —
Поговорить, попеть и посмеяться.
Исполнилось ей только восемнадцать.
Она имела средний рост, фигурой
Была полна немного, но красивей
Матрешы — девки не было в деревне.
Я называл ее Предгрозей: имя
Я произвел от душевного: «предгрозые».
Она томила, как перед грозой
Томит нас воздух. Всей душой простою
Она меня любила, и не мудрой
Была любовь моей ингерманландки.
Два лета мы любились. Много песен
О ней пропето, много поцелуев
Друг другу нами отдано взаимно.
Ах, хороша была кума Матреша!

* * *

Андрей Антоныч, краснощекий мельник,
Катюлиньку любовницей имевший,
Печальную и скромную простушку,
Наш постоянный яркий собутыльник,
Вдруг вспылал к моей Предгрозе страстью,
Ответной в девушке не возбуждая.
И как-то раз, во время запоздалой
На мельнице пирушки нашей, вздумал
Меня убить из ревности, огромным
Ножом взмахнул над головой моею.
Перунчик, благородный мой приятель,
Взревел, как тигр, и мельника за плечи
Схватив, швырнул под стол, тем спас мне
жизнь.



С утра чем свет пришел Андрей Антоныч
В избушку к нам с мольбою о прощении.
И я, его отлично понимая,
Сердиться и не думал. В этот вечер
Веселую справляли мировую.
И с той поры не трогал он Предгрози,
Ко мне питая искреннюю дружбу.
Хорошее, читатель, было время!
Свободными мы были удалцами,
И наши юношеские проказы
Отмечены в моих воспоминаньях
Отвагой, благородством, прямотушьем.

* * *

Прошло еще два года. Много женщин
Дарили мне любовь свою и нежность:
Annete, похожая на гейшу; Olli,
Эстоночка с эгреткой; Карменсита,
Мучительница сладостная; Флёртон,
Щекочущая мозг синьора,
И Шура с изумленными глазами,
И Паня с оскорбленными устами,
И Лапочка, и Дунь, и Magicon...
Достаточно. Довольно. Дальше, дальше...
Все это только сладостные миги.
Все это пусто, кратко и мишурно.
Не настоящее какое это.
Я вспоминаю день иной, сыгравший
Большую роль в моей дальнейшей жизни,
Я вспоминаю день прихода Лизы,
Сестры моей боготворимой Златы,
Я вспоминаю день начала с нею
Значительного властного романа.

* * *

Она пришла семнадцатой своею
Невинной и мечтательной весною.
Она пришла, как раненая серна,
В своей любви нашедшая фиаско.
Она пришла доверчиво, порывно,
Влекомая ко мне интуитивно;



Она пришла, как девушки приходят
В храм Божий или к Божьему поэту.

* * *

Князь Русов, кирасир императрицы,
Мисс Лиль полгода тонко развращая,
Обратного добился результата:
Он пробудил к себе в ней обожанье.
Когда ж ему наскучила малютка,
Жениться вздумал на аристократке
И с Лизою порвал, как подобает
Вельможе, очень грубо, очень резко.
Возмущена сиятельным коварством,
Она, недолго думая, в порыве
Негодования, ранила кинжалом
Князька в плечо в его же кабинете.
Но тусклый князь здесь поступил, как
рыцарь:
Замяв пустячный инцидент с девчонкой,
Он просто приказал лакею Лизе
Надеть пальто и проводить до двери.

* * *

И вот пришла она ко мне и, плача,
Мне рассказала о своей обиде,
О поруганьи девственного чувства.
Она пришла, как раненая серна,
Она пришла, как девушки приходят
В храм Божий или к Божьему поэту.
— «Я лишь двоих люблю на этом свете,—
Сказала Лиза просто: — Вас и князя.
Вы мне всегда, еще в эпоху Златы,
Казались небывалой в мире болью».
Из слов ее узнал, что Злата замуж
За видного чиновника из банка
Назад три года вышла и имеет
Уже ребенка: девочку Тамару.
Я был сражен: она ведь этим шагом
Со мной кончала навсегда. Жестокость
Ее мне причинила снова муки.



Последняя растаяла надежда,
Пусть смутная, на наше примиренье,
На съединенье в будущем, пусть — дальнем.
И странным мне казалось: Злата, чище,
Добрей кого мне не встречалось в жизни,
Вдруг эта Злата, благостная Злата,
Способна на жестокости. Как странно!
Я в тот раз, как мог, успокоил Лизу
И всматриваясь в личико, с сестрою,
С ее сестрой, мне причинившей горе,
Нашел большое сходство. Послужило
То обстоятельство причиной — новой
Глубокой связи с *девушкою* Лизой.

* * *

Мила мисс Лиль в английском синем платье,
Фигуру облегающем вплотную,
Когда она идет со мной по парку
С вокзала, где меня встречала.
Мила мисс Лиль с пикантной черной мушкой
У верхней губки; маленькой головкой
Каштановой качая грациозно.
Высокая и гибкая, вниманье
Всеобщее невольно привлекает.
Мила мисс Лиль, идущая со стэктом
В бледнолимонной лайковой перчатке,
Картавящая щебетно, как птичка,
Кокетливые, глупенькие фразки.
Мила мисс Лиль в раздумии тяжелом,
Когда, отбросив глупости, так ясно
И глубоко умеет видеть жизнь.

* * *

«Мой милый друг, пожалуйста, немного
Побудь один и поскучай — я вскоре
Вернусь: мне надо экстренно работу
Снести», — стрекочет девушка и, шляпу
Надев, сбегает с лестницы. Смеются
За дверью голоса, и оживленно
Две незнакомки в комнату вбегают,



Конфузятся, меня завидев. Робко
Одна из них, постарше, жметя к двери.
Другая... Но ведь это ж упоенье!
Сиреневый шнурок небрежно брошен
На тонкую точеную головку.
Ее прическа с правильным пробором
В ней выдает шатенку; брови стрелкой
Лицу, так, в меру, долю изумленья
Сурово придают; в лице тончайшем
Ирония и страстность; ноздри горды.
— «Ушла надолго Лиза?» — мне казалось,
Спросила не она, а жемчуг зубок,
Так ослепительно они блеснули.
— «Нет, вскоре будет, Вы, mesdemoiselles,
Любезны будьте сесть» — «Pardon, я дама.
А вот подруга — барышня. Садитесь
Не станем мы: в такую ли погоду
По комнатам сидеть? Мы в парк стремимся,
А Вы, пожалуйста, ей передайте...
Нет, впрочем, нет: гораздо лучше, право,
Чем здесь скучать Вам одному без книги,
На полчаса пройтись — вернемся вместе» —
Я был в восторге от ее отваги
(Сказали бы «нахальство» фарисеи!)
И мы втроем ушли. Я не вернулся
В тот день к мисс Лиль. Я не пришел ни
завтра,
Ни через десять дней. Лишь через месяц
Мы увидались вновь, чтоб не расстаться
Семь полнолуний. И виной — Инстасса.

* * *

Да, мы ушли втроем. Но день весенний
Был так пригож, был так горяч и золот
И у Инстассы под сиренью глаза
Блестели так приманчиво и важно
Большие темно-серые соблазны
И так интимно прижимала руку
Мою она, что мы... вдвоем остались.
Подруга поняла, что нам помехой
Является она; на перекрестке
Ближайшем поклонилась и исчезла.
А мы пошли не в парк, а в чащу леса,



Откуда целый вечер, ночь и утро
Дороги не могли найти обратной:
Мешала страсть, затмившая глаза,
Дня через два приехала Инстасса
Ко мне на час, и ровно три недели,
Захваченная страстью, прогостила.
Была ль то жизнь? Я думаю скорее
Ее назвать сплошным дурманом можно:
Болели губы от лобзаний страстных,
Искусанные в кровь; бледнели лица
И не работал мозг в изнеможеньи.
Но ревность Инсты так была несносна,
И так дика, и так невероятна,
Что я устроил бунт, и мы расстались
Молниеносно с пламенной Инстассой.
Впоследствии, однако, с ней друзьями
Встречались мы, когда на содержанье
Ее взял князь... Атракцион Цимлянский!
Я отдохнуть хотел от связи с Инстой
И написал покаянные строки
Своей мисс Лиль. Смущенно улыбаясь,
В мой дом вошла незлобивая Лиза.

* * *

Великий Римский-Корсаков и Врубель,
И Фофанов скончались в эти годы.
И благовестом звонов погребальных
Гудели необъятые пространства.
Три гения, как светочи, погасли.
Их творчество трехкратно, триедино,
И души их, насыщенные Русью,
В слиянии своем — уже эпоха.
Ах, незабвенны Александра Блока
Слова над свежей Врубеля могилой.
«Лишь истый гений может в шуме ветра
Расслышать фразу, полную значенья».
Все трое обладали этим даром
И постоянно вслушивались в ветер,
Отображая в творчестве тот голос,
Который изъяснял России душу:
Ведь русский ветер веет русским духом.

* * *



Роман с мисс Лиль, неровный и волнистый,
То в нежных замираньях, то во вспышках
«Чудовища с зелеными глазами».
Как говорит Шекспир про ревность,
вспышках

Моей косматой ревности, дремавшей
До той поры и Лизой пробужденной,
Благодаря былой новелле с князем;
Роман с мисс Лиль, нам давший темень муки,
В котором искры счастья слишком тусклы.
Роман с необъяснимым недоверьем
К ее словам, и взорам, и поступкам,
Тем более, что в скверном не заметил
Ее ни в чем, был прерван новой встречей.
Взошла Мадлена на престол фатальный
Моей души тревожной и мятежной,
Моей души, как вихрь, неугомонной.

* * *

Мой дар расцвел в ту пору полным цветом,
И ею вдохновенные поэзы
Мне дали имя. Я судить не стану
О наших отношеньях, не приведших
К взаимности, как я ее трактую.
Не стану я судить Мадлены строго,
Чтоб не сказать ей много неприятных
И едких слов: к чему? — Ее кузина
Тиана ей сказала их немало
В мою защиту. Я отмечу только
Что с мужем, к сожаленью, слишком поздно,
По-моему, она рассталась; сердце
Свое тогда Тринадцатой я отдал.
Еще отмечу, что, не помня злого,
Я навсегда признателен Мадлене
За ею принесенную мне Славу.
И до сих пор не гаснет наша дружба.
И ныне в Югославии, в Апатии
Я ей пишу желанно, получая
Печальные, молитвенные письма.
В одном из них из старого романа
Цитата — «Бога ради, ей подайте:
Она была мечтой поэта», — больно



Мое кольнуло сердце. О, Мадлена!
Не плачьте, не тоскуйте, было надо,
Должно быть, поступить, как поступили
Со мною Вы... Я вас не обвиняю.

* * *

С мисс Лиль расстались мы по доброй воле
Её, она заметив чутко склонность
Мою к Мадлене, больше не хотела
Жить у меня. Я нежно, осторожно
Придерживал ее, но было тщетно:
Она ушла. Я, стоя на коленях,
Рыдая, провожал ее. И, плача
Ответно, Лиза долго колебалась
И вдруг ушла, стремительно ушла...
Смушен одним, как сообщает Злата,
Она сказала ей: ее я выгнал
И даже... надругался... Спорить с мертвой
Я не могу — я просто умолкаю.
А что касается ее ребенка,
Меня письмом ее сестра просила
В тринадцатому году о ней подумать.
Я жил тогда на мызе «Пустомерже»
У старенькой княгини Оболенской
С той женщиной, которая имела
Ребенка шестимесячного, дочку
Мою; та, несмотря на уговоры
И просьбы взять малютку, энергично
Противилась. То ревность или глупость?
Во всяком случае — жестокосердые.

* * *

Так шли года, и женщины мелькали,
Как лепестки под ветром с вешних яблонь:
Княжна Аруся, Сонна, Валентина
И Нефтис, и Гризельда, и Людмила,
И Фанни, и Британочка, и Вера,
И Ната — и я всех имен не помню.
Я не со всеми был телесно близок,
Но так или иначе с ними связан.
И много филигранных ощущений



Вы, милые, вы, нежные, мне дали.
Я вспоминаю всех вас благодарно.
Так шли года, и год пришел Всемирной
Войны. И Лиза вновь пришла к поэту.
Спустя три года добрая все та же
И любящая так же, как и прежде,
Она звала к себе меня. И как-то
В компании братьев-футуристов,
Чудесно пообедав у Эрнеста,
Заехал я за нею в лимузине.
Эгисты поджидали на площадке.
Я позвонил — мне дверь открыла... Злата!
Она меня войти просила. Лизы
Не оказалось дома. Как в тумане
Я к ней вошел. Вошел угаслый, вялый
И бледно вспоминающий былое...
И было в этом что-то роковое...
Я был нетрезв и утомлен. Неясно
Соображал. Мне все казалось сном.

* * *

Спустя семь лет, в Эстонии, в июле
Пришло письмо от Златы из Берлина.
Откуда адрес мой она узнала?
Но своего мне не дала. О, Злата!
О, Женщина! Твое письмо — поэма.
Я положил его, почти дословно
На музыку — на музыку стихов.

* * *

ПИСЬМО ЗЛАТЫ

Hermisdorf, 6 июля 1921 г.

Родной мой! Все твое, что в нашей скудной
Читальне зарубежной я нашла,
Я прочитала. Чистый, благородный
Мой друг, спасибо. Оказалось ложью,
Что грязью ты забрасывал меня.
А эта мысль пятнадцать лет терзала
Меня, и я, под этим впечатленьем,



К твоим стихам боялась прикоснуться.
Не странно ли, что я пишу тебе,
Когда уж все давным-давно забыто?
Я чувствую, ты горе перенес,
И ты поймешь меня, я в это верю.
Душа твоя скорбит, и, значит, ты —
Мой брат, душе моей родной и близкий.
О, правильно пойми меня: ведь мне
Не надо ничего; я знаю — поздно.
Поэтому мне легче говорить,
Забытую потерю вспомнить легче.
Я расскажу тебе, что на душе
Давно уже лежит тяжелым камнем.
Я одинока в мире. Я живу
Лишь для детей, для девочек двух бедных;
Имею мужа, чуждого душе;
Меня он любит искренно и нежно,
В ответ себе не требуя любви, —
И я ему за это благодарна.
Моих детей он любит, как отец,
Заботится о них; он свято верит
В порядочность мою и твердо ждет,
Что полюблю когда-нибудь его я —
Но благородство умерло во мне...
Ведь одинокой женщине детей
Воспитывать, родной мой, очень трудно.
Нет мужества, нет силы мне одной
Идти путем тернистым. Пред глазами
Стоят примером детские глаза
Мои и юность. Ты, конечно, помнишь,
Что матери, и дома, и отца —
Всего была я лишена. Уж с детства
Я ощущала пропасть. Было жаль
Мне маленьких моих сестер-сироток,
Но я была бессильна им помочь.
Ты знаешь все, ты многое сам видел.
Ты помнишь, к нам пришел — такой простой,
С открытою душою, добрый, равный,
И грубости, ах, не было в тебе.
Ты был красив своею простотою.
Душа была красива и светла.
Но ты был молод: ширь твоей натуре
Была нужна и бурно жизнь влекла.
Тебя я полюбила, избегала
Тебя, тебе отдаться не хотя:



Я видела те разные дороги,
Которые судьбою были нам
От века предназначены, но вместе
С тем, видела и сходство наших душ.
Я отдалась тебе самозабвенно.
Ты был моей любимой мечтой.
Так время шло, и ты во мне подругу,
Хорошенькую девочку, любил,
Горячие даря мне ласки; все же
Рвалась от боли вся моя душа.
О, неужель, мечта моя, душою
Своею мук моих не видел ты?
А жизнь влекла тебя. Исполнен жизни,
Ты рвал цветы, не всматриваясь вглубь.
Родной мой, согласишься, что много старше
Тебя была я в жизни, и душа
Моя перенесла гораздо больше.
Еще ребенком видела я горе
Любимой мамы. Я искала
Возможности помочь ей. Уж тогда
Работала, и если удавалось
Ей пособить, бывала так горда.
Прозя меня заботиться о сестрах
Моих, малютках, мама умерла.
Была я впечатлительной: все беды
И горе камнем на душу ложились.
Сестру мечтала вырвать из болота,
Из дома пьяницы-отца, и не погибнуть
Самой при этом. Ах, не в это ль время
Явился ты! Тебя не обвиняю:
Мы отдались взаимно. Ты дороже
Всего на свете был мне. Задала я
Себе вопрос: имею ли я право
Твою свободу брать? — Мне подсказала
Душа, что разные у нас дороги,
Что жизнь лишь начинается твоя,
Что на твоём пути я помешаю
Тебе. К тому же мамочка твоя,
Тебя облагородившая, казалось,
Мои же мысли повторила. Вот
Тогда, решив уйти бесповоротно,
Твоей дала я маме тут же слово
Не видеться с тобою больше впредь.
Ты помнишь день, когда к тебе пришла я?
Те черные слова неправдой были.



Твоей была тогда я, лишь твоей!
Оставила тебя с какою болью!
О, как тебя любила, как звала я!
Ведь каждый нерв во мне тобою бился!
Мучительно мне было, больно, душно,
Но я сумела жизнь свою убить.
В страданиях этих я терзалась долго.
Я видела, что ты меня все помнишь.
Ты чуткий ведь, не чувствовать не мог ты
Моей любви, вернуть меня хотел.
Чтоб отступленья путь себе отрезать,
Я делаю жестокость: я ищу
Все способы убить в себе святое,
Себя стараюсь тщетно развратить,
Хочу бездушной быть... Их было много,
Желавших тело юное мое,
Я холодна, и это их манило.
Я самого развратного в мужа
Себе избрала. Был меня он старше
На восемнадцать лет. Предупредила,
Что я ему отдамся без любви,
И в этом было главное условие.
О, как его я презираю! Сколько
Отвратности и мерзости в прожившем
Аристократе этом я нашла!
Я с ним жила семь лет. Те дни ужасны,
Но и тогда тебя я не забыла:
Чем больше в жизни видела я грязи,
Тем для меня ты делался дороже.
Я так могла погибнуть, но на счастье
Была со мною девочка моя,
Которая, мне согревая душу,
Ко мне тянулась ласково, и боль
Стихала в сердце. Я ей говорила,
Как взрослой, о любви моей больной.
Мне было легче. Тихая я стала.
Мне стало жаль себя. Благословляла
Тебя, мечтой жила, любила тихо.
И был со мною ты в моих мечтах.
Не видела и не слыхала больше
Я ничего. Две жизни будто были:
Священная и светлая одна,
Другая — вся в грязи и в черном мраке.
Ах, если б не один тяжелый день!
Ты помнишь, друг мой, Гатчину? По делу



Приехала к отцу, и там случайно
С тобою повстречалась. Точно стон
Вдруг вырвалось, так больно оскорбляя
Тебя, из уст моих плохое слово:
Во мне боролись вечная любовь
И ненависть. В тот миг я презирала
Тебя. Зачем же ты пришел *туда*?
Зачем, зачем, мечта моя, любовь!
Вся гнусность лживых писем анонимных
Меня невольно думать заставляла
Что ты... Ведь были сестры мне они,
Любимые, меньшие. Вновь мученья
Ты мне принес. Потом... потом... потом
Она жила с тобой! Мне безразлично
И пусто стало все. Я потеряла
Последнюю надежду. Как укор
Моей ошибки, ты стоишь передо мною.
Мне было страшно, что обета маме,
Мной данного исполнить, не могла я.
Я им не помогла, я их стяхнула
В трясины, в бездну. Мне *она* сказала,
Что взял ее ты чистой, надругался
И вышвырнул. Ты не признал ребенка.
Как было больно. Жизнь меня учила
Прощать врагов, — и я тебя простила.
Скончался муж, и я вздохнула легче.
Моя душа не знала вовсе боли:
Она была чиста. Мы были квиты:
И ожили опять воспоминанья.
И устремились вновь к тебе мечтанья,
И совладать я не могла с порывом:
К тебе, к тебе, к тебе хотела я!
Я выхода искала, и кружилась
В смятеньи голова. Их было много
И в этот раз, как некогда, бездушных
И бедных мальчуганов, так хотевших
Меня себе в супруги получить.
Все думали они, что я богата,
Но, кроме двух детей, я не имела,
Поверь мне, ничего. Я им сказала,
Как я бедна, что жаль губить их юность,
Сказала все. Один из них упорно
Не пожелал уйти. — «Не оскорбляйте, —
Он мне сказал, — Как редкостную душу,
Как благороднейшего человека,



Я Вас люблю». Он обещал быть детям
Заботливым отцом. О, я боролась
С моей к тебе любовью долго, долго!
И я себя на время победила,
Я согласилась быть его женой.
Себе же поклялась себя заставить
Его любить за честность, и навеки
Тебя, любимый друг мой, позабыть.
Но видишь, нет, любить его не в силах.
Ведь прежняя не заживает рана.
Она, должно быть, слишком глубока.
И я ему сказала откровенно,
Что не люблю его, что ненавижу,
Что каждое его прикосновенье
Наносит боль душе моей, что мы
Должны расстаться. Он тогда уехал
В Германию. Я думать не хотела
О будущем. Не знаю, что тянуло
Его ко мне, но он писал мне письма,
Исполненные трогательной просьбы.
Он в них писал, что ничего не хочет,
Лишь бы была я около него.
Тогда решила я к нему поехать,
Все дорогое мне в России бросить,
На время позабыться. Мне с тобой
В последний раз хотелось повидаться,
Чтоб в душу заглянуть твою. По просьбе
Ее пришел ты. Но не для *нее*,
А для себя, мой друг, тебя ждала я.
Ждала тебя увидеть одного,
Последнее «прости» тебе промолвить.
Но ты пришел со свитою, боясь
Чего-то. Ах, не чувствовал ты разве,
Что жизнь твоя была мне дорога?
Тебя я не узнала: бурной жизни
Следы отпечатались на лице,
И холодно-насмешливо блестели
Твои глаза. Любимый! Ты сказал,
Что ты искал меня, что для тебя я
Хотя и умерла, — в воспоминаньях
Еще живу. Что я могла ответить?
Ты ведь мыслитель: как же ты не понял
Моей большой любви?! Что уезжаю,
Из слов моих ты знал, но, вместе с этим,
Я не нашла в глазах твоих привета,



Сердечного и теплого «прости».
Лишь пару слов холодно-грубоватых
Ты бросил мне. Но разве я хотела
Чего-нибудь? Я разве собиралась
Былое, миновавшее, вернуть?
К тому же ты сказал: «Теперь уж поздно»?
С тяжелым сердцем мне пришлось уехать...
Настали дни ужасные: шесть лет...

В н и м а н ь е! Автор говорит:

Моя любовь — падучая стремнина.
Моя любовь — державная река.
Порожиста порой ее равнина,
Но в сущности чиста и глубока.





КОЛОКОЛА СОБОРА ЧУВСТВ

АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЙ РОМАН
В 3-х ЧАСТЯХ

ДВА ПРЕДИСЛОВА

1

Когда я в стихах фривольно
Пишу о минувшем дне,
Я делаю многим больно,
Но делали больно и мне...

Ведь все-таки я ироник
С лиризмом порой болезненным...
Смешное семейных хроник
Не может не быть смешным...

Владимир Иваныч, милый!
Узнал ты себя, небось?
Ну что же, в ответ «гориллой»
И ты в меня в шутку брось!..

И все вы, и все вы, все вы,
Кого осмеял, шутя,
Простите мои напевы,
Затем, что поэт — дитя!..

2

Чем проще стих, тем он труднее.
Таится в каждой строчке риф.
И я в отчаянии бледнею,
Встречая лик безликих рифм.



И вот передо мной дилемма:
Стилический ли выкрутас,
Безвыкрутасная ль поэма,
В которой солнечный экстаз?..

Пусть будет несколько сырое,
Обыденное во втором,
Но выбираю я второе
Своим пылающим пером!

И после Белого и Блока,
Когда стал стих сложнее, чем танк,
Влюбленный в простоту глубоко,
Я простотой иду *va banque*! *

ВИДЕНЬЯ ВВЕДЕНЬЯ

В соборе чувств моих — прохлада,
Бесстрастье, благость и покой.
И высится его громада
Над всей набожностью людской.
В душистом сумраке собора,
Под тихий, мерный перезвон,
Лампады нежности у взора
Глубокочитимых мной икон.
Но прежде, чем иконным ликом
Отпечатлеться на стене,
Живущая встречала криком
Любви меня и шла ко мне
Доверчиво, порывно, прямо,
Все отдавая, ничего
Взамен не требуя. Для храма
Она отныне — божество.
Мои возлюбленные — ныне
В соборе вечных чувств моих
Почили в мире, как богини.
И перед ликами святых
Клоню благоговейно стих
И поклоняюсь их святыне.

* *va banque* — ва-банк (фр.). — Ред.



В тяжелые часы сомнений,—
Под старость страшные часы,—
Я в храм несу венки сирени
Для ликов мертвенной красы.
Несу фиалки и мимозы,
Алозы, розы и крэмозы,
И воскурю фимиам,
И на иконах небылозы,
Рубинные роняя слезы,
Вздыхают по минувшим дням.
И между тем как сердце мечет
Прощенье мне и ласку льет,
Бубенчик ландыша щебечет
И лилий колокол поет.
В тиши я совершаю мессы,
Печальный траурный обряд,
И все они, мои принцессы,
Со мной беззвучно говорят.
И чем звучней беззвучный шепот,
И чем незлобивей слова,
Тем тяжелее мне мой опыт
Уничтоженья божества...
Но стоны муки прерывая,
Так гулко, что трепещет мгла,
Поют, что мертвая — живая,
Собора чувств колокола.

И оживленные иконы
Изнедриваются из рам,—
И все мои бывшие жены
Толпою заполняют храм.
И молвят речью голубою,
Приемля плоть, теряя прах:
«Обожествленные тобою,
Мы обессмертены в веках...
За это нет в нас зла и мести:
Пей всепрощенье с наших уст...»
И вторят им, сливаясь вместе,
Колокола собора чувств.



ЧАСТЬ I

1

Иван Васильевич Игнатьев,
Эгических издатель книг,
Любимец всех моих собратьев,
Большой проказник и шутник,
Лет восемнадцать с немногим,
Имевший домик на Песках,
В один из невских дней убогих
Ко мне ворвался впопыхах:
«Я только что от Сологуба!» —
Вскричал взволнованный такой
И, жалуясь на схватки зуба,
Затряс подвязанной щекой:
«Он альманаху футуристов
Дает поэму строк на триста,
Но под условием, чтобы Вы
С ним познакомились и лично
Поговорили...» — «Что ж, отлично, —
Ответил я. — Я ни совы,
Ни ястреба, — орла тем паче, —
Бояться не привык и, значит,
Иду к нему в ближайший день,
Но только Вы, Иван Васильич,
Пристрожьтесь: часто дребедень
Берете Вы, Господь Вас вылечь,
От недостойных новичков —
Бездарных жалких графоманов,
И симулянтов, и болванов,
Хотящих ваших пяточков
И более чем легкой славы...» —
Перегружать пугаясь главы
Подробностями, я лечу
На грёзовом аэроплане
Вперед, вперед, поставив Ване
За упокой души свечу:
Зимою следующей бритвой
Он перерезал горло. Что
Его заставило, никто
Не знает. Грустной молитвой
Собрата память осеня,
Я вдаль стремлюсь; влечет меня
Уютный мыс воспоминанья,
Где отдохнуть от лет лихих



Среди когда-то дорогих
Людей смогу я, друг мечтанья.

2

В студеный полдень октября, —
В такой обыденный, но вещий, —
У Сологуба на Разъезжей,
От нетерпения горя
Увидеть стильного эстета,
Я ждал в гостиной. На стене
Лежала женщина в огне
Дождя при солнце. Помню, эта
Картина, вся лучистый зов,
Какую создал Калмаков,
Меня тогда очаровала.
И вдруг, бесшумно, предо мной
Внезапно, как бы из провала,
Возник, весь в сером, небольшой
Проворный старец блёстко-лысый
С седою дымчатой каймой
Волос вокруг головы. Взор рысий
Из-под блистающих очков
Впился в меня. Писатель бритый,
Такой насмешливый и сытый,
Был непохож на старичков
Обыкновенных; разве Тютчев
Слегка припомнился на миг...
Меня смущая и измучив
Осмотром острым, дверь старик
Раскрыл, ведущую из зала
В свой кабинет, и указала
Мне выхоленная рука
На кресло против старика.

3

Мы сели и, храня молчанье,
Сидели несколько минут.
Затем он стал чинить мне «суд»
И делать резко замечанья
По поводу моих доктрин
Футуристических. Вопросы
Я оботвечил, как умел,



В дыму крепчайшей папиросы...
Я стал вдруг вдохновенно смел,—
И засвистали окарйны,
Запчелила виолончель,
Ударил по сознанию хмель,
И трельный рокот соловьиный
Объял всю комнату: то я
Читал, восторг в груди тая,—
Читал поэт перед поэтом!
Смягчая лаской строгий глаз,
Меня он слушал. Мой экстаз
В поэте, чтеньем разогретом,
Святые чувства всколыхнул.
Он улыбнулся, он вздохнул...
И понял я, что было в этом
Так много доброй теплоты
И разволнованной мечты.
В дверях Настасья Николавна,
Его сотрудница и друг,
С улыбкой появилась вдруг...

4

За чаем мы болтали славно,
Иронизируя над тем
Или иным своим собратом
И критиком, совсем распытым
Гвоздями наших ядных тем...
Так совершался мой восход:
Поэт был очарован мною,—
Он вместе со своей женою
Немало приложил забот,
Чтоб выдвинуть меня из мрака
Безвестности. В разгаре драка
В то время с критикой была
У юноши. Его признание
Меня — в огонь подлило масл,
Но был огонь уже угасл,
И, несмотря на все старанья
Презренных критиков, взошел
Я на Поэзии престол!
Недели через две в салоне
Своем дал вечер мне Кузмич.



За ужином сказал он спич
В честь «блещущей на небосклоне
Вновь возникающей звезды»,
И приглашенные светила
Искусства за мои труды
Меня приветствовали мило
И одобчительно. А «Гриф»
Купил «Громокипящий кубок»,
И с ним в горнило новых рубок
И сеч пошел я, весь порыв.

5

В те дни еще со мной по-свински
Не поступал никто, и вот
Уже мы с Сологубом в Минске,
Где вечер Сологуб дает,
С участием Чеботаревской,
Его жены, и — слава им,
Меня повезшим! — и с моим...
Мы едем с помпой королевской,
Пьем в ресторанах только «мум»
И производим всюду бум,
Встречаемые молодежью,
Уставшею по бездорожью
Литературному брести
И ныне нам во славу божью
Венки решающей плести.
В разгаре вечер. Старый лектор,
Сошедший с кафедры, под плеск
Ладоней, свой смакует блеск
И пьет хвалы живящий нектар.
Вдруг в лекторскую голоса
Врываются: под смех и взвизги
Две старших классов гимназистки,
Как стрекоза и с ней оса, —
Летят на Сологуба прямо,
И старшая, смотря упрямо
И пристально в глаза ему,
Твердит: «Люблю Вас, — потому
Вас целовать не знаю срама».
И с этими словами в лоб
Поэта длительно целует.
Жена, конечно, не ревнует:



Ведь дети вроде антилоп:
Невинны и наивны. Эти ж
Еще так юны. Как же встретишь
Причуды и проказы их,
Как не с улыбкой губ своих?
Поцеловав, смеется звонко,
И вдруг конфузится она,
И шепчет голосом ребенка:
«Я Сонечка Амардина...»

6

«Вы не завидуете,— спросит
Меня читатель,— что не вас
Поцеловать девица просит,
Взобравшаяся на Парнас?»
Что значит зависть? Вот, во-первых,
Мой вопросительный ответ.
А во-вторых, играть на нервах
Самостоятельно поэт,
Привыкший, знающий секрет
Несравнимых успехов,
Вам холодно ответит: «Нет».
Бряцающая золотом доспехов
Своей одаренности, в те дни
Поездки первой по России
Я покорял толпу впервые
И зажигал в сердцах огни.
В тончайшей лекции своей
Про «Дульцинею» и «Альдону»
Мне из похвал поэт лил бронзу
И пел меня, как соловей.
«Блистательнейший из всех
Поэтов, здравствующих ныне»,—
Он называл меня. Успех
Ему обязан мой. О сыне
Заботится ли так отец,
Как обо мне старик, певец
Елисаветы и Маира?
Ему, поэту, и жене
Его я вечно благодарен:
Она всегда лучиста мне,
Он неизменно светозарен.



Признался как-то мне Кузмич,
Что в первые же дни знакомства
Моих стихов победный клич
И их всевластное огромство
В его душе зажгли такой
Ответный блеск, что он тенью
Вокруг квартиры, где с мечтой
Я жил, блуждал, дыша сиренью
Живительной моих стихов.
За это я любить готов
Его восторженность весеню.

7

Из Минска в Вильно, а оттуда
Чрез Харьков в Катеринослав,
Дурманя головы от гуда
И блеска двух слиянных слав.
Оттуда в пеструю Одессу,
Попутно Пушкина-повесу
Неволью вспомнив. Вот и пост
Великий — время запрещенья
Стихов и песен. Посещенье
«Гамбринуса» и с Сашкой тост
За Куприна. Автомобили
В «Аркадию». И де-Рибас,
Юшкевич, Лоэнгрин и Нилус,
И Щепкин с Федоровым. Час
Или неделя? Что случилось
За это время? Сологуб
Придумал нам пока забаву:
Поехать в Крым, а сам в Полтаву,
В страну окороков и круп,
Вишневых хуторов и смеха,
Нас в Ялту проводив, уехал
Покушать малоросский борщ
И лекцию прочесть хохлушкам —
Как ты там брови не топорщ! —
Такую чуждую их ушкам,
Привыкшим к шепоту Грицько,
В котором мед и молоко...
На дряхлом пароходе «Пушкин»,
Лет двадцать шесть тому назад,
В год моего рожденья, тело



Семена Надсона несмело
Привезшего из Крыма, взгляд
Последний бросив на Одессу,
Мы вышли в море, за завесу
Тумана, кушая цыплят
И запивая их «удельным»...
О, не был наш маневр бесцельным:
Кур за детей их не кляня,
Я качку перенес геройски, —
Недаром капитан «по-свойски»
Бороться с ней учил меня...
Мафусаильчат, весь проржавен
И валчат, с горем пополам
Шел этот «Пушкин», как Державин
По взбудораженным валам...

8

С Настасьей Николавной в Ялту,
Заехав в Севастополь, мы,
В разгар таврической зимы,
Попали к вечеру. Приял ту
Красу я тотчас. От Байдар
Вдоль побережья нас автобус
Извилисто стремил. Мы оба
С восторгом на морской пожар —
Заход светила — любовались.
Когда же Симеиз, отдалясь
Своею мраморною тьмой,
Исчез, казалось нам, в самой
Пучине моря, мы отделись
Иным красотам, и Мисхор
Привлек взыскательный мой взор.
В большой гостинице «Россия»,
Где мы остановились, я
Узнал, что многие больные
Живут в ней, и, портье прося
Мне сообщить — не здесь ли тоже
И Мравина, ответа с дрожью
Я ждал, и был его ответ:
«Они живут здесь много лет».
Я к ней вошел — и мне навстречу —
О, как я боль свою оречу! —



Поднялся... скрюченный скелет.
Улыбкой выблеклой встречая,
Без голоса и без лица,
С печатью близкого конца,
Она мне предложила чая.
Она была в рядах светил,
В нее влюблялись без рассудка,—
И вот туберкулез желудка
Ее в руину превратил.
Ужель она была Снегурка,
Татьяна, Джильда и Лакмэ?
Удел людей — удел окурка:
Так все истлеем мы во тьме.
Смотря на солнечное море,
Умолк я грустный у окна...
Она скончалась после вскоре,
И стала вновь собой она:
Искусство вечно выше жизни,
И жрец его — сверхчеловек,
В какие рамки нас ни втисни
И как ни дей из нас калек!..

Мы в Ялте пробыли два дня лишь
И наняли автомобиль
На Симферополь, снегопыль
Вздымив. О, как меня ты жалишь,
Змея воспоминанья! — в край
И олеандров, и магнолий
Меня вдруг повлекло всей волей...
Оттуда мы в Бахчисарай
Проехали, и в Симферополь,—
В татарский город сволочей,—
Вернулись на неделю. Чей
Там облик властвовал? Европа ль?
Иль Азия? Ах, для очей,
Конечно, Запад! Но для духа —
Монголка, и притом старуха...

9

А там и дорогой Кузмич
Приехал вскоре к нам в Симфери.
Одна забавная афера
Произошла тогда. Не бычь



Свои глаза, быкообразный,
Но добродушный дилетант:
Твой добродетельный талант
Развенчивать мне нет соблазна.
Наоборот: ты очень мил,
Сердечен, мягок, деликатен,
Но и на солнце много пятен,
А ты ведь солнца не затмил!..
Так вот, один купец-богач,
Имевший дом, сестру и маму
И сто одну для сердца даму,
Пек каждый день, но не калач,
А дюжину стихотворений
И втайне думал, что он гений.
Купец был ультра-модернист
И футурист; вообще был «ультра»,
Приверженец такого культа,
Какому очень шел бы хлыст...
Он, например, писал: «Сплету
На грудь из женщин ожерелье»,—
Чем приводил всегда в веселье
Его внимавших на лету.
Нелепость образа смешна:
Каким же нужно быть колоссом,
Чтоб женщинам длинноволосым
Дать место на груди? Одна
На нем повиснувшая дева
Его склонила б до земли,
А несколько — кишки из чрева
С успехом выдавить могли...
Томимый жаждой славы, он
Решил истратить сотен восемь,
Чтоб влезть на славы пышный трон,
А потому, придя к нам: «Просим
К себе на вечер»,— он сказал.
Мы были там. Огромный зал
Был декорирован венками.
Гирлянды вились через стол.
Там ело общество руками,
И все, как следует... Он шел
Вокруг стола, завит, во фраке,
Держа в одной руке «Банан»,
В другой же водку. Гость же всякий
Ему протягивал стакан.
Хозяин спрашивал: «Вам водки



Или ликера-под-омар?»
Гость залпом пил ликер и, в жар
Бросаемый, куском селедки
Затем закусывал, кряхтя...
А он, безгрешное дитя,
Стремился дальше, и бутылки
Осматривали всем затылки.

10

Ростов с его живой панелью,
Тысячеликою толпой,
В фонарный час вечеровой
Блуждающей и гимн безделью
Поющей после дня труда,
И Дона мутная вода,
Икра ростовская, и улиц
Нью-йорковая прямота,—
Весь город миллионоулец,
Где воздух, свет и чистота,—
Все это выпукло и ярко
Запечатлелось навсегда,
И даже толстая кухарка
В «Большой Московской», что тогда
Раз промелькнула в коридоре,
До сей поры видна глазам...
Екатеринодар. А там
Солончаки, унынье, море
Каспийское, верблюды, киргиз,
Баку, Тифлис и, в заключение,
Декоративный Кутаис,
Где непонятное влечение
И непредвиденный каприз
Мне помешали до Батума
Добраться с милою четой:
От впечатленья и от шума,
От славы внешне-золотой
Я вдруг устал и,— невзирая
На просьбы дорогих людей
Турнэ закончить и до края
Кавказа, через пару дней,
Доехать с ними, чтобы вместе
Затем вернуться на Неву,—
Упорно не склонил главу



И пламенно бросился... к невесте,
Которую в пути моем
Судьба дала мне. С ней вдвоем
До Петербурга добрались мы.
И понял я тревоги смуть,
Меня толкнувшую на грудь
Моей Гризельды. Эти письма
На мутной желтизне листов,
Сожженные давно! готов
Я воскресить их для поэмы:
В них столько животворной темы.
Чета писателей меня
На поезд нежно проводила
И продовольствием снабдила
До Петербурга на три дня.
Цветы, конфекты, апельсины —
Мне дали все, — и на Рион
Пустился я увидеть сон
Любви весенне-соловьиной...

Но прежде чем помчаться дальше
И продолжать со мною путь,
Прошу вас раньше заглянуть
К одной тифлисской генеральше,
Устроившей для нас банкет
И пригласившей сливки знати
Армянской, и послушать кстати,
Что о Тифлисе вам поэт
Расскажет через десять лет.

11

Над рыже-бурою Курою,
В ложбине меж отлогих гор
Красив вечернею порою
Он, уподобленный герою,
Кавказский город-златовзор.
Иллюминирован фонарями,
Разбросанными там и здесь,
Под снежно-спящими горами
Он весь звучит, пылает весь.
Его уютная духана
Выходит окнами к реке,
В которой волны, как шайтаны,



Ревут и пляшут вдалеке.
Порой промчится в челноке
Какой-нибудь грузин усатый
С рыдающей в руках зурной
Иль прокрадется стороной
По переулкам вороватой
Походкой мародер ночной.
Гремят бравурные оркестры,
Уныло плачет кяманча.
Все женщины — как бы невесты:
Проходят, взорами бренча,
Вас упоительно милуя.
Все жаждет песен, поцелуя
И кахетинских терпких вин.
И страсть во взорах альмандин
Зажгла, чье пламя, вспыхнув, хочет
Собою сжечь грузинок очи.
В такую бешеную ночь,
Когда прикованы к ракете
Тифлисцев взоры, на банкете
Собрались мы. Пусть, кто охоч,
Подробностями уснащает
Повествовательный свой рот,
Но я не тот, но я не тот:
Естественно, что угощает,
Кто пригласил к себе народ...
Не в пире дело, а в Тифлисе,
В его красотах и в сердцах
Его красавиц, в их очах
И, — на ушко скажу Фелиссе, —
В его помешанных ночах...
Один из призванных хозяйкой
Армянских богачей-вельмож
Встает и, взявши в руки нож,
Стучит и, свой фужер «ямайкой»
Наполнив, держит тамада —
Речь в честь меня высоким слогом:
Он в ней меня венчает богом,
С небес сошедшим к ним сюда.
О, дни моей непревзойденной
И несравненной славы! дни
России, в гения влюбленной,
Господь вас в мире сохрани!



Курьерский поезд верст полсотни
 И больше проходивший в час,
 Меня на север влек; бесплотней
 И низменнее стал Кавказ.
 Я вышел на площадку; вскоре
 Две девушки пришли туда.
 Одна с мечтой больной во взоре,
 Мерцающею, как звезда,
 Миниатюрная шатенка
 С бескровно-мертвенным лицом,
 Смотрела мне в глаза, причем
 Я видел: голубела венка
 У незнакомки на виске...
 И захотелось мне, в тоске,
 Обняв ту девушку, заплакать,
 Не понимая сам о чем...
 Одна из них ушла до мрака.
 Темнел час вечера. Плечом
 Мне полюбившаяся резко
 И так неожиданно повела
 И вдруг сказала: «Я была
 В Тифлисе на концерте. Блеска
 Немало в чтенье Вашем. Я
 Вас полюбила». — «Ты моя», —
 Я прошептал. И не устами —
 Полузакрытыми глазами
 Она ответила: «Твоя...»
 Моя Гризельда! Где ты ныне,
 Утерянная десять лет?
 Я припадаю, как к святыне,
 К твоим ногам. Глубокий след
 В моей душе твоей душою
 Отпечатлен. Как много слез
 Я пролил по тебе. Я нес
 Любовь к тебе всегда живую
 Дни, месяцы, года. Я сам
 Тебя покинул, голосам,
 Звучавшим лживостью, подвластный.
 Гризельда! Нет тебя, прекрасной!
 Со мною нет тебя! Жива ль
 Еще ты, нежная? Мне жаль
 Тебя, утонченный ребенок,
 Чей профиль так печально-тонок



И чья болезненная страсть
Тебя толкнула рано пасть...
Ты явь или сон? Ты жизнь иль грёза?
Была ли ты иль не была?
Тебе, бывшая небылоза,
Собора чувств колокола.

13

Роман наш длился две недели,
И был поэмой наш роман.
Дни соловьями нам пропели,
Но вот сигнал разлуке дан:
Другая женщина, с которой
Я прижил девочку, в мольбе
К ногам склонилась. О тебе,
Своей грузинке грустновздорой,
Я помнил свято, но она,
Изменой так потрясена
Моей была и так молила
Ее с ребенком не бросать,
Что я сбежал — и это было! —
В лесную глушь, а там, опять
Опомнясь, звал тебя, страдая,
Но покорил, но превозмог
Свою любовь к тебе: у ног
Моих она, немолодая,
В печали билась головой...
Я прожил лето сам не свой,
Запоем пил, забыл знакомых
И чуть не одичал совсем, —
В тяжелых пьяных полудремах
Все повторял: «Зачем? Зачем?»
Моя Гризельда! ты, белоза!
Ты слышишь вопль и пальцев хруст?
Тебе, бывшая небылоза,
Колокола собора чувств.

ЧАСТЬ II

1

Погода или Теккерей,
Чей том читал я на диване,



Но серый день еще серей
Стал к вечеру, и в свежей ране
Моей потери, несмотря
На тлен отлетенного лета,
Боль тихо теребит заря,
Исполненная арбалета
Свиданий нежных на заре
С моею призрачной грузинкой,
Растаявшей живой снежинкой
Весенних яблонь. В сентябре
Меня вы застаете с книгой,
И на предложенное: «Двигай!» —
Рассеяв прошлого туман,
Охотно двигаю роман.
Звонок. Шаги. Стук в дверь. «Войдите!» —
И входит девушка. Вуаль
Подняв, очей своих эмаль
Вливает мне в глаза, и нити
Зеленобронзовых волос
Капризно тянутся из кос.
Передает букет гвоздики
Мне в руки, молча и бледна,
Ее глаза смелы и дики:
«Я Сонечка Амардина». —
Я вспомнил Минск, концерт, эстраду,
Аплодисментов плёсткий гул,
И, смутную познав отраду,
Я нежно на нее взглянул.
«Вы помните?» — «О да, я помню...»
«И Вы хотите?» — «Да, хочу...»
И мы в любовь, как в грёзоломню,
Летим, подвластные лучу
Необъяснимого влечения
И, может быть, предназначенья
Повелевающей судьбы,
Ее покорные рабы.
И если это все не сразу,
С двуразия наверняка:
Перебивает фраза фразу,
И в руку просится рука,
И губ так жадно ищут губы,
Глаза вливаются в глаза...
...Ах, все поэты — Сологубы,
Для девы с именем «Гроза»!..
— «Бежим, поэт мой, на утесы!



Над бездной станем, отдадим
Себя себе и под откосы,
В момент слиянья, полетим...» —
Не в этом ли четверостишии
Вся сущность Сонкиных речей,
Ее громокипящей тиши,
Ее целующих очей,
Смотрящих в душу поцелуев,
Что мотыльчат, мечту балуя...
Она ко мне по вечерам
Ходила чуть не ежедневно.
Ее любовь была напевна
И уподоблена коврам
Текинским — по своим узорам...
Я влекся к ароматным взорам,
К благоухающим устам;
И вся она, блондинка Сонка
С душою взрослого ребенка —
Сплошной живящий фимиам.
Но вот настали дни каникул,
И все курсистки по домам.
Так я Гризельды не отмыкал,
Как принял Сонку в грезный храм.

2

Селим Буян, поэт Симфери,
Решил устроить торжество:
Он пригласил на Рождество
Меня, в поэзии эс-эра,
А Игорь, в очередь свою,
С улыбкой исхитро-бесовской
Собрал искусников семью:
Бурлюк, Игнатъев, Маяковский.
Игнатъев должен был доклад
Прочесть о новом направлении,
А мы — стихи, и в заключение
Буян решил свой мармелад
Дать на десерт: «лирионетты»
И «баркароллы», как стихи
Свои он называл: лихи
Провинциальные поэты...
Все вместе взятое звалось
«Олимпиадой футуризма».



Хотя Буян был безголос,
Но в нем немало героизма:
Напудренный и завитой,
Сконфуженный и прыщеватый,
Во фраке с лентой голубой
Вокруг жилета, точно ватой
Подбитый весь, «изящный» шаг
Выделывал по тренировке
И выходил медвежьи-ловкий,
За свой муаровый кушак
Держась кокетно левой ручкой,
А в правой он имел платок,
Обмакивая им роток,
Весь истомлен поэзной взбучкой...
Такие типы, как Буян,
Который голос свой осипил,
Идеей славы обуян,
Типичный тип, и я отипил
Его, как типовой баян.
Все знают, как Давид Давидыч
Читает: выкриком, в лорнет
Смотря на публику, и нет
Смешного в гамме этих выдач
Голосовых; в энтузиазм
Бурлюк приводит зал. И злобно,
Чеканно и громоподобно,
Весь мощь, спокойно и без спазм
Нервических, по залу хлещет
Бас Маяковского. Как я
Стихи читаю, знает точно
Аудитория моя:
Кристалльно, солнечно, проточно.

3

Стремясь на юг, заехал на день
За Маяковским я в Москву,
Мечтая с ним о винограде
Над Черным морем. Я зову
Его поехать на ночь к «Зону»;
Нас провожает «Мезонин
Поэзии», и по газону
Его садов, пружа резин
Круги, несется лимузин.



За ним спешат на дутых шинах
С огнем оглобелъ лихачи:
То едут, грезя о кувшинах
С бордоским, наши смехачи:
Сам Велимир зелено-тощий,—
Жизнь мощная, живые мощи,—
И тот, кто за нос зло водим.
Чужими музами, галантный,
Сам как «флакон экстравагантный»,
Наш Габриэлевич Вадим...
Затем Якулов и Лентулов,
Виновники в искусстве гулов,
Талантливая молодежь,
Милей которой не найдешь...

4

Ночь, день, вторая ночь, и к утру
Дня третьего — пред нами Крым.
Свои прыщи запрятав в пудру
И тщательно устроив грим,
В бобровой шубе, в пышной шапке,
Селим Буян берет в «охапки»
Нас с Маяковским. Мы к нему
В санях несемся. Горожане
Гадают: «Знатные волжане —
Купцы, должно быть...» Потому
Мы смотрим на прохожих важно,
В санях разбросав аванажно.
Но вскоре Симферополь вестью
Животрепещущей объят:
Участники «Олимпиад»
Уже приехали. И честью
Считает житель, если взгляд
Футуристический уловит...
Но что же нам Буян готовит?
Саженных тысячи афиш
Твердят упорно шрифтом жирным
О происшествии всемирном:
О нашем вечере. И шиш
Зажав в кармане, мой Володя
Смеется едко, «нео-модя»...
«А где ж Игнатьев и Бурлюк?» —
Спросил Буян, платком махая.



«Судьба их, знаете, лихая,
Они упали через люк...» —
«Какой? Куда? Да говорите ж!» —
Вскричал взволнованный Селим.
«Они упали в город Китеж», —
Мы сокрушенно говорим.
«Что значит Китеж?..» — он растерян,
Он обеспудрился, дрожа.
«Я просто вру, как сивый мерин», —
Сказал Володя, без ножа
Селима бедного зарезав...
Он лишь тогда пришел в себя
И, захихикав из «поэзов»,
Вдруг забаранил «бе» и «бя».

5

Буянов дом для нас распахнут:
Пекут три бабы пироги
И комнаты «иланжем» пахнут,
Белье ласкают утюги;
И чижики поют нам славу,
Подвешенные под окном;
Сестра изображает паву,
Как бы разнеженную сном
Искусства нашего. И мебель
Одета в чистые чехлы;
И раболепно, как фельдфебель,
Обшныривая все углы,
Во всем нам угождает сёстрин
Случайно купленный супруг,
Чей дисциплинный лик заострен...
Супругу дан женой сюртук,
Супруг имеет красный галстук,
И сизый нос, и трухлый мозг,
И на носу коньячный лоск,
И на устах всегда «пожалуйста»...
И только стоит мне слегка
Привстать, как привстают все разом;
Иль посмотреть на облака,
Как все на небо лезут глазом...
А если Маяковский гром
Густого кашля тарарахнет,
Семья присядет в страхе, ахнет



И заперхает вчетвером...
Когда ж, читая что-нибудь,
Проходит он из угла в угол,
Буянцы, наподобье пугал,
За ним стараются шагнуть.
Буян имеет целый взвод
Совсем особенных поклонниц:
Старушек с минеральных вод,
Столь специфических лимонниц...
Они приходят на поклон
К нему, вертя сухие ребра,
И он, в глазах их Аполлон,
Дает им пламенный автограф...
Но связь с старушками порвем, —
Расскажем, как в гостях живем.
Живем совсем как борова:
Едим весь день с утра до ночи,
По горло сыты, сыты очень;
Вокруг съедобные слова:
«Еще котлеток пять? Ветчинки
Пол-окорочка? Шемаи
Десяточек?» — так без запинки
В живот хозяева мои
Нам впихивают всякой снеди,
Вливая литрами вино...
Но ведь желудки не из меди, —
И им расстроиться дано!..
А в промежутках меж блюдами
Буян нас пичкает стишками,
И от еды, и от стишков,
Скрепленных парюю стежков,
Мутит нас так, что мы с Володей
Уже мечтаем об уходе
Куда-нибудь и, на постель
Валясь, кричим: «В отель, в отель!»

6

Режим подобный не по нраву
Поэтам, от него больным,
И вот мы требуем, по праву,
Беспрекословным и стальным —
Эстрадным! — голосом: свободы



И переезда в номера.
Переезжаем и «ура!»
Кричим и жадно ищем броды
В кафешантанной глубине...
А между тем «Олимпиада»
Все приближается: о дне
Ее — афишная громада
Оповещает городок:
Через неделю. Этот срок
Решаем мы на Крым истратить,
Чтоб силы, возвратясь, оратить
И дать рутине грозный бой,
Поднявшей в местной прессе вой...
Забавно вспомнить: две газеты
Чуть не дрались из-за меня.
«Он создал слово „триолеты“,
Значенье нам не объясня... —
Одна из них твердила тупо, —
Что значит „триолет“? Как глупо
Звучит сей дикий „триолет“!» —
Я хохотал до слез в ответ...
Иван Игнатьев все не едет
И шлет десятки телеграмм,
В которых смутно что-то бредит,
Но не бредет в Тавриду к нам.
Давно Бурлюк уже подъехал,
Досуг наш дружески деля.
О, сколько было там для смеха!
Какие для забав поля!
...Бристоль. Британочка. Людмила.
Моэта ящики. Авто.
Нелепо, пусто, но и мило,
И впечатлительно зато!..
С утра шампанское и булки,
Чай, оливье, газес, икра —
Все вперемешку! И с утра
Автомобильные прогулки
В Бахчисарай и на Салгир,
В Гурзуф, в Алушту, просто в горы.
Какие выси и просторы!
И пир, как жизнь! И жизнь, как пир!
Живем мы праздно на Салгире,
Жуируя средь «медных лбов»...
А между тем в подлунном мире
Есть город, названный «Тамбов».



И в этом названном Тамбове
Есть дева, ждущая любви
(Дабы не осквернять любви,
Падеж слегка переиначу...),
И эта дева наудачу,
С девизом: «Жениха лови!» —
Мне письма шлет и телеграммы,
Где свадьбы назначает час...
Что ж, я готов! Володин бас
Меня спасительно от драмы
Женитьбы вдруг предостерег...
Вот что мне этот бас изрек:
— «Она ко мне пришла нагою,
Взамен потребовав венца.
А я ей предложил винца
И оттолкнул ее ногою».
А из Москвы мне пишет Лида
Слегка во вкусе fleur d'orange *,
И в письмах тех сквозит обида
На разных театральных ханж...
Из Минска присылает Сонка
Своих экстазов сувенир.
О, если необъятен мир,
Объятна каждая девчонка!

7

Но вот уже «Олимпиада»,
Так долгожданная, в былом,
И разношерстая плеяда
Поэтов лезет напролом
На Севастополь, повторяя
Победоносный вечер свой,
И с поднятою головой
Докатывается до края.
Зовется Керчью этот край,
Где «от тоски хоть умирай».
Но происходит здесь размолвка
Из-за каких-то пустяков;
И вечер дав, с ухваткой волка
Затравленного, из оков



* fleur d'orange — флердоранж (фр.). — Ред.

Антрепренерства, много тысяч
В своем убавив кошельке,
Буян, в смятении и тоске,
Выскальзывает. Жаждем высечь
Его за что-то. Я сердит,
Я принимаю грозный вид,
Надменно требую расчета,
Сажусь в курьерский — и домой.
Бурлюк с Володей тоже что-то
Ворчат по поводу помой
И горе-купчиков. И мой
Покинутый, Селим Буян,
В сражении потеряв колчан,
В Симферио едет от керчан.

Я возвращаюсь, радый лавру,
Еще вплетенному в венок,
И чуть не упадаю с ног:
По Старо-Невскому на лавру
Печальный движется кортёж.
Кто, сердце надрывая, стонет?
Откуда эта молодежь?
— Жена Игнатьева хоронит.

ЧАСТЬ III

1

Должно быть, всех червей червивей
Тщеславья неунывный червь:
Позабывает о разрыве
Буян и тащит, как на верфь
Суда на биржу для ремонта,
Ряд государственных бумаг
И, думая затмить Бальмонта,
Предпринимает новый шаг
К смеющейся и скользкой славе:
Буяна генеральный штаб,
Ограндиозив свой масштаб,
Решает, что орлу двуглавей —
Помпезней быть, и в этот раз
Не только Крым, но строй всех рас,
Живущих на Земле, Буяна
Обязан знать; и вот он рьяно
Мне пишет, свой шикаря слог,



И предлагает кошелек.
Что ж, импресарио мне нужен,
Как всякому желудку ужин...
А если он еще к тому ж
Богат, почиттелен, не муж
Какой-нибудь мегеры злобной,
Супружескому кошелю
Мешающей, тем лучше: шлю
Согласье и программы пробный
Листок. На этот раз состав
Чтецов я изменил: с докладом,
Футуристический устав
Всем изъясняющим и рядом
Умело выбранных цитат
Живописующим свой тезис,
Намечен Ховин, кто, поэзьясь,
На красноречье тороват.
А чтоб слегка разнообразить
Концерт, решаю дать сюрприз:
Позвать с собою поэкстазить
Какую-либо из актрис.
Но так как их удел — отвратно
Читать стихи, хоть имена
Порой звучат довольно знатно,
Совсем особая нужна
Актриса мне: нужна актриса,
Как говорят, не из актрис.
Но как найти ее? Повис
В печали нос, и я у мыса
Раздумья, пригорюнясь, смолк.
В уме проходит целый полк
Знакомых женщин. Но кого же
Из них избрать: ведь не похожа
На чтицу ни одна из них,
Из этих близких и чужих?
Но вдруг, внезапно осененный
Наитьем, свойственным орлу,
Подсаживаюсь я к столу
И Сонечке, в экстаз влюбленной,
Шлю телеграмму: «Ты нужна
Немедленно». — И вот она
Спустя два дня передо мною
Уже стоит: «Что хочешь ты?»
— «Вот книгу я тебе раскрою,
И ты, во имя Красоты,



Прочти мне маленький отрывок
Из этой пьесы». — «Хорошо». —
И просто, ярко и свежо
Она читает. Вижу: гривок
Ржи золото, и плеск ручья
В июльский полдень слышу... «Чья, —
Шепчу восторженно, — чья школа
Тобой окончена?» — «Эола,
Любви и Вакха, и твоя», —
Мне отвечает, улыбаясь,
Безгрешная и голубая,
С такой кристальной простотой...
И я кричу в восторге: «Стой!
Мне так нужна была актриска,
Но если в мире нет актрис,
Да будь актрисою курсистка!
Ура! Так хочет мой каприз». —
И в тот же вечер, овагоня
Ее, я проводил домой:
К родителям спешила Соня
В свой Минск, напудренный зимой.
Концерты через две недели
Должны начаться, а пока —
На юг депеши полетели:
Я взял Буяна за бока!

2

А дни идут, день дня лукавей.
Со мною дружен некий бес...
Концертом в Катеринославе
Начнется третий путь поэт,
Как сообщает штаб-квартира,
И Сонечке я знать даю,
С ней свидеться мечту таю,
А сам с улыбкою сатира
Влюбляю женщин и люблю.
Но Сонка смолкла. Нет ответа.
Я беспокоюсь. Я смущен.
Я горячусь. Я возмущен.
Меня уже тревожит это
Молчанье: до концерта пять
Дней остается. Я понять
Не в состоянии, что такое



Произошло, и сгоряча
Я заменить ее другою
Решаю, так сказать, сплеча.
«Ну, подожди же ты, чертовка», —
Я говорю себе и вот
Припоминаю, что живет
Девушка с именем Зиновка,
Поблизости у невских вод.
Она девушка как девушка:
Не то работает, не то, —
Сам черт не знает, деет что! —
Я вас просил бы не удивляться,
Что избираю я ее:
В ней что-то чую я «свое».
Она стройна, она красива,
И голосиста, и смела,
И в разных смыслах, — там, — мила,
Подчеркиваю для курсива...
Я шлю с посыльным ей привет
И приглашаю в кабинет.
Что ж, тут как тут она. И разве
Она могла бы быть не тут?!.
Ее мозги ведь не в маразме,
Чтоб не идти, когда зовут
Прославленные повсеместно,
Поставленные на виду...
Я с нею быстро речь веду:
«Итак, да будет Вам известно,
Что Вы с сегодняшнего дня
Актриса: поняли меня,
Надеюсь?» — Предложение лестно
Для девушки «ни то ни се»,
И вмиг мы с ней решаем все.
Она читает. Это проба
Совсем прилична. Я хвалю,
И мы смеемся с нею оба,
И я почти ее люблю...
«До завтра, девочка! Курьерский
На юг уходит в семь часов». —
Она встает, мне бросив дерзкий
И пылкий взгляд, в котором зов.
А завтра утром, звонко-звонко
Меня целуя, гонит сон
И тормозит со всех сторон
Ворвавшаяся в спальню Сонка!



Послав Зиновке от Гурмэ
Конфekt, садимся в поезд трое —
Победоносные герои
В своей поэзокутерье.

3

Опять встречает нас Буян
С помощниками на перроне;
Опять я чувствую в короне
Себя и вновь, как прежде, пьян
Вином, стихами и успехом;
Опять улыбками и смехом,
Цветами нежа и пьяня,
Встречают женщины меня, —
Но предан я иным утехам:
Я в Сонку не шутя влюблен
И страстью к Сонке распален...
Концерт, озвученный помпезно,
Уже прошел. Успеху рад,
Буян в Елисаветоград
Зовет приехать нас любезно,
Но перед этим, в честь удач,
Решает пир задать богач.
Опять оркестр, вино и бездна
Веселья: там хоть все разрушь!
И *Gordon vert*, и *Gordon rouge*...
И Сонка с помпой шампанской
Царит над пиром, вся экстаз:
О, Эсклармондой Орлеанской
Она недаром назвалась!
Я был свидетелем успеха
Ее эстрадного, и эхо
Рукоплесканий огневых
До сей поры в ушах моих:
«Брависсимо! Виват! И bravo!!» —
Почти стонала молодежь.
Так неожиданная слава
К тебе идет, когда не ждешь.
И если б Сонка в эту эру
Поверила в свой редкий дар,
Она бы сделала карьеру
Не меньше, чем сама Бернар.
С распущенными волосами,



Взамен костюма прямо в шелк
Стан забулавчив свой, стихами
Она будила в зале толк:
«Откуда? Что это за школа?
И кто ее учителя?» —
А школа та была Эола,
Любви и песен короля!

4

Ее томит отелья клетка,
Она спешит покинуть дом,
И вьется флагом вуалетка,
Когда на жеребце гнедом
Она устраивает гонки
С коляскою, везущей нас,
И в темно-синей амазонке, —
Вся вдохновенье, вся экстаз, —
Будя всеобщее вниманье,
Несется за город, к Днепру,
Где историческое зданье
(Я вам его не отопру!),
Дворец Потемкина, а там,
Хотя нас не встречает сам
Великолепный князь Тавриды,
Какой простор! какие виды!
Какая солнечность зато!
И то в коляске, то в авто
Туда мы ездим постоянно;
И Сонка, наша Сонка, кто
Мне так воистину желанна,
То впереди, то сзади нас
На жеребце своем гарцует
И взглядами меня целует
И вдохновляет на Парнас...

5

Собрав знакомым всем приветы
И запечатав их в конверт,
Мы в городе Елисаветы
Даем впервые свой концерт.
Успех повсюду неизменен,
И может быть, когда-нибудь
В твою страну, товарищ Ленин,



Вернемся мы успех вернуть.
Давно красавицами славен
Елисаветы Первой град.
Мужчина каждый обезглавен
Сердцами их, как говорят.
Брюнетки, рослые смуглянки
С белками синими слегка —
Вас, южные израильтянки,
Я узнаю издалека.
И здесь по городу мы ездим,
И здесь осмотрен город весь,
И здесь, как и везде, мы звездим,
И здесь, как там, и там, как здесь.
И здесь настроен я амурно,
Влюбляясь в Сонку день за днем.
Вдруг на концерте Сонке дурно
Внезапно стало. Мы ведем
Ее поспешно за кулисы,
К ней вызвав экстренно врача:
Трепещем мы за жизнь курсисы...
Рука ее так горяча...
Уложенная на диване,
Она без чувств. Буян, в кармане
Сжимая четвертной билет
И постарев на пару лет,
В волненьи носится от лестниц
По коридорам и фойе,
Где девы продают «кайэ»
И лимонад, и на прелестниц
Не смотрит. Он несется вскачь
И восклицает: «Кто здесь врач?»
Но вот уже и доктор найден,
И начинается осмотр.
Врач улыбается. Он бодр
И ей питье из виноградин
Вливает в рот. Мы ей пальто
Надев, ведем ее в авто.
Врач диагностирует, даже бровью
Не поведя: «Немного жар.
Обычный случай малокровья».
И деньги, как в резервуар,
В карман кладя: «Au revoir»* —
С улыбкою сквозь зубы цедит...

* Au revoir — до свидания (фр.). — *Ред.*

А Сонка дома стонет, бредит
 И бурно мечется в бреду.
 И вот я в номер к ней иду,
 Склоняясь близко к изголовью,
 И с исцеляющей любовью
 По бреду вместе с ней бреду.
 И вижу то, чего не видит,
 Кто вместе с нею не тавридит.
 И слышу то, чего чужой
 Не слышит. Всею своей душой
 Я жажду Сонке исцеленья
 И силой своего влюбленья
 Ее в сознание привожу.
 Она в спокойный сон грузится,
 И грезится ей небылица:

Она ступает на межу
 В июльский день. И хищный ястреб
 Играет с голубем, венки
 Свивая клювами, где к астре
 Так не подходят васильки.
 И оба нежно ей гуторят,
 Нашептывают про любовь.
 Им волны нив зеленых вторят...
 А птицы говорят: «Готовь
 В своем сердечке место страсти
 И одного из нас бери
 Себе в мужья...» — И столько сласти
 В речах. Но только — раз! два! три! —
 Гром, молния, и шторм, и тучи,
 И голубь прячется к ней в лиф,
 А ястреб хищный и могучий
 Взлетает к небу, весь порыв.
 Захвачена его экстазом, —
 Сама порыв, сама экстаз, —
 Она следит влюбленным глазом
 Его полет, а он, как раз,
 Кружась, парит над головою,
 Борясь презрительно с грозой,
 И Сонка, в жажде смелых душ,
 Кричит ему: «О, будь мне муж!...»



Но не пора ли нам в Одессу —
 Давать в Одессе вечера?
 И, отслужив по чувству мессу,
 Нам по домам ли не пора?
 В одесском «Лондонском отеле»
 Мы проживаем две недели,
 Даем концертов пару и
 Пьем «реймса» пенные струи;
 Автомобилим на фонтаны,
 Порою ездим на лиман.
 И ревизируем шантаны,
 Пунктиром метя в них роман...
 Но что мне может дать Куяльник
 Какой-нибудь, когда печальник
 Я стал, смотрящий на печаль —
 Веселой раньше — Сонки? Вдаль
 Задумчиво и беспредметно
 Она свой устремляет взгляд,
 Худеет на глазах заметно,
 Бросая фразы невпопад.
 Хотя отказа от участия
 В концертах мы не слышим, но,
 По-видимому, мало счастья
 Приносит слава ей: темно
 Ее исполненное света
 Чело, и как-то вечером
 Она зовет к себе поэта
 С ней побеседовать вдвоем.
 «Меня ты любишь ли?» — «Как прежде». —
 «Ты мне отдашься?» — «Не могу.
 Когда-нибудь потом. Есть вещи,
 Но... но...» — И больше ни гу-гу.
 «Скажи, ты влюблена в другого?» —
 «Я этого не говорю». —
 «Моею быть дала ты слово». —
 «Да, слово, данное царю
 Поэзии, сдержу я свято.
 Но после, после. Сердце смято
 Большим несчастьем, но каким —
 Не спрашивай: я не отвечу». —
 И, проклиная втайне встречу,
 Из комнаты я вышел злым.



И, несмотря на все успехи,
 Сказав любви своей «прости»,
 Велел Буяну сбросить вехи
 Всего дальнейшего пути.
 И, несмотря на уговоры,
 На все Буяновы мольбы,
 Я все нарушил договоры
 И захотел простой избы
 Взамен роскошного отеля,
 И вместо вин — воды ручья...
 И вмиг все цели обесцеля,
 С печальной Сонкой, участь чья
 Меня томила и терзала,
 Уехал вскоре в Петербург.
 И там мне Сонка показала
 Такую мощность бурь и пург
 Душевных, столько муки горькой,
 Что я простил ей все, и зорькой
 Весенней в памяти моей
 Она осталась. Только ей
 Я не сказал о том ни слова
 И с ней расстался так сурово,
 Так незаслуженно, что впредь,
 Не зная, как в глаза смотреть,
 С ней не хотел бы новой встречи,
 Себя другими изувечив,
 Которые в сравненьи с ней, —
 На протяженьи тысяч дней
 Утерянной, — идти не могут.
 Не могут, ну и слава богу...

Роман кончается, и пленка
 Печали душу облекла...
 Но и тебе, то тихо-тонко,
 То мрачно, то победно-звонко,
 Они звучат — о Сонка! Сонка! —
 Собора чувств колокола.



СОЛНЕЧНЫЙ ДИКАРЬ

(УТОПИЧЕСКАЯ ЭПОПЕЯ)

1

Я заключил себя в монастыре
Над озером, в монастыре зеленом
Душистых хвой в смолистом янтаре
И бледно-желтых грошиков под кленом...

Свершенная Мечта — святой алтарь
Монастыря бесстенного Природы.
Я новью замолить мечтаю старь
Своих грехов, забыть ошибок годы.

Не говори, потомок: «Он был слаб», —
Исполненный энергии и страсти,
Я сжег любви испытанный корабль
И флаг успеха разорвал на части...

Я расплескал столетнее вино,
Мне данное рукой державной Славы,
Порокам цепь сковал к звену звено
И смял романа начатые главы...

Во имя Той, Кто восприняла плоть,
Я сделал невозможное возможным...
За прошлое прости меня, Господь,
Устрой остаток жизни бестревожным.

Среди глуши, бумаги и чернил,
Без книг, без языка, без лживой кружки
Я заживо себя похоронил
В чужой лесной озерной деревушке.



Нет, не себя, — в себе я схоронил
 Пороки, заблужденья и ошибки.
 В награду дух обрел взнесенные крыл,
 Уста — святую чистоту улыбки.

И мысль моя надземна с этих пор:
 Земля с ее — такой насущной — ложью,
 Ее детей непреходящий спор
 Чужды ушедшему в Природу Божью.

Ложь истины и эта правда лжи,
 Неумертвимые вражда и войны...
 О, неужели люди все, скажи,
 Быть Человеком вовсе недостойны?

И вот во имя Сбывшейся Мечты
 В себе похоронив следы порока,
 Я возродился в мире Красоты,
 Для подвига Поэта и Пророка!

Среди глуши, бумаги и чернил,
 Без человеческой мудрости печатной,
 Нет, не себя, — в себе я схоронил
 Порок Земли, душе моей отвратный.

Отвратный ли? не я ли пел порок
 Десятки лет и славословил тело?
 Что ж из того! Всему положен срок:
 Впредь петь его душа не захотела.

Лишь в мертвеце противоречий нет, —
 В живом — калейдоскоп противоречий.
 А если он, живой, к тому ж поэт,
 Он человек порой сверхчеловечий.

И потому, что он сверхчеловек,
 Он видит недостатки человека
 И думает вместить мечтанный век
 В пределы существующего века.



Удастся ли когда-нибудь? О, нет!
Не думаю. Не верится. Не знаю.
А все-таки!.. Поэт ведь я, поэт,
И, как поэт, я иногда мечтаю...

Я мыслю о немыслимом — о том,
Что люди прекратят вражду и ссоры
И будут над рекою строить дом
С окном на безмятежные просторы.

Что люди поразрушат города,
Как гнойники ненужной им культуры,
Откажутся от праздного труда —
Работы механической фигуры...

Да здравствует кузнец и рыболов,
Столяр и ты, кормилец-хлебопашец!
Да здравствует словарь простейших слов,
Которые сердца приемлют наши!

А если б было, не было б того,
Что есть теперь, — повсюдного содома,
Природа — Бог, и больше нет Его,
Не строй себе нигде, как в Боге, дома.

В Природе жить — быть вечно в Божестве.
Не с Божеством, не у Него, а в Боге.
Во всем своем вмещающая существе
Природу, ей причастен ты в итоге.

Природа — все естественное. Все ж
Культурное — искусственно, и, значит,
Ваш город — лишь кощунственная ложь,
Которая от вас святыню прячет.

Ненужному вас учат города, —
Вы, неучи ученые, умрете.
Не стоит жить для ложного труда
В бессмысленном своем людвороте.

Труд всякий ложен, как и жизнь ложна,
Но предпочтенье отдаю простому —
Природному. Работа, что сложна,
Принадлежит, по существу, содому.



Маститый кафедральный муж, чья дверь
Влечет, как светоч, сбившихся с дороги,
Ты — уважаемый глубоко зверь,
Ученый зверь! Ты только зверь двуногий!

Ты выдрессирован наукой. Ты —
Величественная земная немочь,
Исполнен весь пустейшей полноты:
Пузырь из мыла и ученый неуч!

Что стоит все величие твое,
Весь твой расчет, который строг и точен,
Когда ничтожное хулиганье
Тебе способно надавать пощечин?..

Ты, зверь, среди таблиц и диаграмм
Мечтающий свой мозг увековечить,
Ты даже от простых семейных драм
Себя не в состояньи обеспечить...

К чему твоих познаний мишура,
Все изобретенья и все открытия,
Когда и завтра будут, как вчера,
Происходить кровавые события?

Зверь зверя будет грызть наедине,
И звери станут грызть людей открыто
В так называемой «людской» войне
Из-за гнилого, старого корыта...

Ты можешь ли не умереть, старик,
И заменить октябрь цветущим маем?
Так чем же ты, убогий зверь, велик
И почему зверями уважаем?

И если б этой кафедры шута
И города, трактирного зверинца,
Не знал профессор вовсе, у куста
Провел бы жизнь за соскою мизинца...

А то стругал бы с пользой бревно,
Как ныне мозг бессмысленно стругает...
Я думаю, для зверя все равно,
Как он живет и как он умирает...



Ученому ученый рознь: один
Старается на пользу брата-зверя,
Другой, прохвост, доживший до седин,
Изобретает пушки, лицемеря

Патриотизмом, свойственным зверям,
На самом деле думая о «куше»...
В честь Марса звери воздвигают храм,
Жестокие ожесточая души.

Итак, на сломку университет,
Который больше вреден, чем полезен!
Я докажу: раз в мире мира нет,
Наука — вздор! Попробуй, на железе

Взросший, опровергнуть мысль мою!
Наука — вздор, раз кровь по миру льется!
Рушь университетскую скамью, —
Уст не мочи своих в крови колодца!

Не попусту мой пламенный задор, —
Продуманы слова, перестраданы,
Когда я говорю: «Наука — вздор!»,
Ты вспомни разрывные «чемоданы»,

Ты вспомни газ удушливый, весь вред,
Весь ужас, создаваемый наукой.
Я отвергаю университет
Со всей его... универсальной скукой!

Я слышу, зверь, я слышу твой вопрос:
«А разве пользы от науки мало?»
Ах, нет лекарств целебней лдяных рос
И средств простейших лучше. Понимала

Толк в травах Солнечного Дикаря
Душа, леча природой дух и тело.
А воздух-то? а солнце? а заря?
Смола лесов без грани, без предела?



А ты, животворящая вода
Студеного ключа, там, из-под дерна,
Врачующая боли без следа?
Чудная! Чудная! Ты чудотворна!

Лекарства городов, все чудеса
Хирурга — ноль, ничто перед Природой.
Да исцелит тебя ее роса!
Души своей Наукой не уродуй!

Есть случаи, когда тебя ланцет
От смерти сбережет: что за отрада
Жизнь удлинять? Живешь — прекрасно. Нет —
Так, значит, вовсе жить тебе не надо...

А если надо, что ж, и без ножа
Профессора останешься на свете...
Живи, живой, собой не дорожа,
Как мудрецы и маленькие дети!

И головы себе не забивай
Научною сухою дребеденью,
И помни, что тебе доступен рай
И этот рай — земля с ее сиренью!

Сирень — простое дерево, Сирень
Бесхитростна, как ты, душа поэта.
Она в обыкновенный вешний день
Все ж ароматней университета!..

«Он полн идей», — мне скажут. Полн идей?!
Тщеславия? Убийства? Славы блуду?
Зверей я не считаю за людей
И никогда людьми считать не буду,

Пока не изничтожится война —
Рычаг и главный двигатель культуры.
Двуногие! поймите, что гнойна
Вся ваша гнусь кровавой авантюры...

7

Я говорил про высшую из школ
Лишь потому, что лекторская школа
Мне кажется, могла бы на «престол»
Сажать людей, пригодных для «престола»,



Которые развитием своим
Высоко вознеслись бы над толпою,
Воздвигнув стяг: «Земной не умертвим
Здесь, на земле, ничьей рукой землею».

Все споры разрешает не война,
Как пережиток варварской эпохи,
А Человек, чья мысль и речь сильна,
Чье сердце откликается на вздохи.

Я говорю прозрачно. Слушай, верь
Моей тоске и нестерпимой боли.
А если ты смеешься — смейся, зверь,
И прозябай в своей звериной доле...

8

Кто хочет войн — «верхи» или народ?
Правители иль граждане державы?
Ах, все хотят: ведь раз солдат идет
Кровь проливать и ищет в боине «славы»,

Идет по принуждению, — он, солдат,
Не хочет не идти — идти он хочет.
А если хочет, кровью он объят
И званье человека он порочит...

И вот он — зверь такой же, как король,
Как президент, как все другие «люди»...
Отраднa человеку зверя роль,
Погрязшему в жестокости и блуде.

Правительство, посмевавшее войну
Другому объявить, достойно казни,
И граждане, слиянные в волну,
Могли б его не слушать без боязни,

Немедленно его арестовав,
Как явно сумасшедшее правленье...
Нет этого — и, значит, мир не прав,
Горя от жажды самоистребленья.

Позорнейшее прозвище «герой»
Прославлено бесславными зверями.
Вокруг убийц гудит восторга вой,
Об их здоровье молятся во храме.



И груди их венчают ордена,
И, если «враг», в пылу самозащиты,
Изранит зверя, зверева жена
С детенышем одеты, греты, сыты, —

На счет казны, — за «подвиги» самца,
Убившего других самцов немало...
О, морда под названием лица!
Когда б ты эти строки понимала,

О, ты бы не рядила в галуны
И в дорогие сукна строй военный,
Дав помощь тем, кто жить принуждены
Средь нищеты и скорби неизменной!

«Сверхчеловеком» значишься теперь
И шлешь «врагу» ультимативно ноты,
И в глупом чванстве строишь ты, сверхзверь,
Сверхзверские, как сам ты, сверхдредноты!

Небось ты не построишь сверхприют
Детенышам своим и инвалидам,
Которые по улицам ползут,
Прохожего своим пугая видом,

Моля о подаяньи, костылем
Стуча по нервам, иль на четвереньках
Змеются, потому что королем
Был дан приказ — повыбрать в деревеньках

Всех мирно прозябающих зверей,
Патриотизмом, как кровавым мясом,
В них раззадорить бешенство страстей
И в массах вызвать гнев к соседним массам!..

9

Но то война! А разве без войны
Не убивает зверь другого зверя,
Его лишая жизни без вины?
И что ему ничтожная потеря —

Кто может бить стекло и зеркала
И мазать лица кельнеров горчицей,



В том никогда ужиться не могла
Душа людская, с белой голубицей

Которую равняют. «Ты тростник,
Но мыслящий», — сказал про зверя Тютчев.
Я думаю, однако, что старик
Поэт название мог бы выбрать лучше:

Ведь в тростнике нет зверского, меж тем
Как в людях — зверство сплошь. О, «царь
природы»,
Подвластный недостаткам зверским всем!
Но, может быть, людей есть две породы?

Как знать! Возможно... Отчего б и нет?
За эту мысль цепляюсь. Грежу тщетно.
И лавой мысли весь мой кабинет
Клокочет, как дымящаяся Этна...

10

Любовь земная! Ты — любовь зверей!
Ты — зверская любовь, любовь земная!
Что розоватости твоей серей?
Ты — похотная, плотская, мясная!..

Ты зиждешься единственно на лжи.
Кому — хитон, с тебя довольно кофты...
Уродина! ты омрачаешь жизнь
И оттого-то вовсе не любовь ты!

Детеныши, законные плоды
Твои, любовь звериная, всосали
С твоим проклятым молоком беды
Всю низость чувств, зачатых в грязном сале...

Измена, и коварство, и обман,
Корысть, бездушие, бессердечье, похоть —
Весь облик твой, и кто тобою пьян,
Удел того — метаться, выть и охать...

Законодатели! Пасть, как дракон,
Раскрывшие в среде своей звериной!
О, если б учредили вы закон:
Рождаемость судима гильотиной!



О, смилуйтесь: зверь зверствовать устал...
Слетайтесь, стаи падали вороньи!
Плод вытравить — закон, который стал
Необходим при общем беззаконьи!..

ФИНАЛ

Не мне ль в моем лесном монастыре
Проклятья миру слать и осужденья?
Над озером прозрачным, на горе,
Мой братский дом, и в доме Вдохновенье.

Божественность свободного труда,
Дар творчества дарованы мне Небом.
Меня живит озерная вода,
Я сыт ржаным — художническим! — хлебом.

Благодаря Науке я гремлю
Среди людей, молящихся Искусству.
Благословенье каждому стеблю
И слава человеческому чувству!

Я образцовой женщиной любим,
В моей душе будящей вдохновенье,
Живущей мной и творчеством моим, —
Да будет с ней мое благословенье!

Благословенна грешная земля,
В своих мечтах живущая священно!
Благословенны хлебные поля,
И Человечество благословенно!

Искусства, и Наука, и Любовь —
Все, все, что я клеймил в своей поэме,
Благословенны на века веков, —
Да будет оправдание над всеми!

Раз могут драгоценный жемчуг слез
Выбрасывать взволнованные груди,
Раз облик человеческий Христос
Приял, спасая мир, — не звери люди.



Живи, обожествленный Человек,
К величественной участи готовься!
О, будет век — я знаю, будет век! —
Когда твоих грехов не будет вовсе...

Алмазно хохочи, жемчужно плачь, —
Ведь жемчуг слез ценней жемчужин Явы...
Весенний день и золот, и горяч, —
Виновных нет: все люди в мире правы!

Январь 1924





РОЯЛЬ ЛЕАНДРА (LUGNE)

РОМАН В СТРОФАХ

ВСТУПЛЕНИЕ

Не из задора, не для славы
Пишу онегинской строфой
Непритязательные главы,
Где дух поэзии живой.

Мне просто нравится рисунок
Скользящей пушкинской строфы.
Он близок для душевных струнок
Поэта с берегов Невы...

Ведь вкладывают же в октавы,
В рондо, газеллы и сонет
Поэты чувства? Что же нет
Средь них строфы певца Полтавы?

Благоговение к нему?..
Но создан и сонет Петраркой.
Тех доводов я не приму.
И вот — пишу строфою яркой!

Пусть «в пух» поэта разнесут
Иль пусть погладят по макушке —
Неважно: «Ты свой высший суд!» —
Художнику сказал сам Пушкин.



ЧАСТЬ I

1

В один из дней начала мая,
В старинном парке над прудом,
Засуетился, оживая,
Помещичий пустынный дом.
Будя сон парка, в нем трубили
Прибывшие автомобили,
И слуги, впад в веселый раж,
Вносили в комнаты багаж.
Именье было от столицы
Верстах не более чем в ста,
А потому весьма проста
И перевозка. Веселится
Прислуга, празднуя приезд, —
И шум, и гам идут окрест...

2

Кто не пьянел от мая арий?
Кто устоял от чар весны?
Аристократ и пролетарий
Перед природою равны.
И удивительного мало,
Что так встревоженно внимала
Природе барынька сама,
К пруду спешившая. Зима
В столице ей давно порядком
Уже наскучила. Сезон
В каталептический впал сон.
Ее влекло к куртинам, грядкам,
К забвенью надоевших лиц:
Весною нам не до столиц...

3

Еще влекло мою Елену
Быть с Кириеною вдвоем,
Супружескому целя плену
Стрелу небрежности. Пойдем
Ее мы сразу непременно:
Она страстна, но не развратна,



Любима мужем, но его
Любовь — жене не торжество...
Он — генерал при государе,
Надменен, холоден и сух,
Дисциплинированный дух,
Короче: «человек в футляре».
Она же вся сплошной порыв,—
Ей кружит голову обрыв...

4

Ей тридцать два, супругу — сорок:
Пустячна разница в годах.
Их жизнь ровна: ей надо горок.
Он в деле весь — она в мечтах.
Но что же их соединило?
Перо, бумага и чернила
В том не участвовали. Ей
Сказал он: «Вас женой своей
Хотел бы видеть». Не подумав,—
Двенадцать лет тому назад,—
Она дала согласие. Сад
Был полон изумрудных шумов,
Кипела кровь, и — никого
Вблизи, с кем ей сравнить его...

5

И вышла замуж так же просто,
Как мы выходим через дверь,
Когда нам близких до погоста,
Еще не вникнув в суть потерь,
Мы провожаем безучастно,
И вот она почти несчастна,
И эта цифра «тридцать два»
Напоминает, что листва
Впредь с каждою весною блёклей,
А вместе с ней и тоны щек,
И глаз сиянье. Скоро срок,
Когда торжественность биноклей
Не будет целиться в нее:
Лета, летя, берут свое...



Лета летят, а сердце юно,
 Еще не знавшее любви,
 Гладь жизни требует буруна
 И соловьи поют: «Лови!»
 Но что и как ловить Елене,
 Когда не встречен ею гений,
 В осколки должный брак разбить
 И, полюбив, в себя влюбить?
 Ее кузина, Кириена,
 Была единственной душой,
 Ей близкой. Косо свет большой
 Смотрел на Киру: властно сцена
 Ее влекла к себе — она
 Была актрисой рождена.

Ей только двадцать, только двадцать!..
 А сколько веры в двадцать лет!
 Ей время счастьем отдаваться,
 Не знающей, что счастья нет...
 Едва окончен ею Смольный,
 Она уже опять со школьной —
 О драматической — скамье
 Мечтает, вызвав гнев в семье.
 Тогда они бежали обе, —
 Одна от мужа, от семьи
 Другая, — девушки мои:
 Замужней молодой особе,
 Любви не знавшей, дамский чин
 Навязывать мне нет причин...

Она детей имела рано, —
 Пыл материнский в ней был рьян:
 Два златокудрых мальчугана —
 И Альвиан, и Ариан.
 Жалея об умершей дочке,
 Она любила в них кусочки
 Себя самой, но мужа часть




Гасила материнства страсть
В ее любви горячей к детям.
И оттого в ней чувства два
Боролись часто. Торжества
Безоблачного мы не встретим
И в этом случае: любя
Детей, она казнит себя.

9

Хотя и предлагал в Сорренто
Жене поехать генерал
(Ему давала право рента
Жить там, где местность он избрал),
Хотя родные Кириены
Надеялись, что перемены
Стран, настроений и путей
Помогут излечиться ей
От дикой мысли стать актрисой,
Кузины, любящие глушь,
Решили жить в глуши, и муж
Отчасти рад: сановник лысый
Еженедельно день-другой
Мог проводить вдвоем с женой.

10

Nélène, в деревню уезжая,
Удачно меры приняла,
Чтоб ни одна бездушь чужая
На дачу к ней не забрела:
Безличные несносны лица,
Коварна смокинга петлица,
Где на бессердцевой груди
Гвоздику вянуть пригвоздив,
Глупит, сюсюкает, картавит
Гальванизированный фат.
Beau-mond — как некий халифат,
Где вкусами безвкусье правит,
Где от девиц, от рома ли,
Волочит ногу gamoli *...



* Старчески расслабленный (фр.). — Ред.

Hélène росла на дальнем юге
 В именье дяди-старика
 Без вдохновительной подруги,
 Без родственного языка,
 Без материнской несравнимой,
 Теоретически-любимой,
 Единой ласки, без отца,
 Без образного образца...
 Трех лет ей не было, как спали
 Уже родители в земле,
 В большой усадьбе при селе.
 Ах, двадцать девять лет опали
 С тех пор, как почуют в гробах
 Родные листья на дубах.

Ее дубы! У них спросить бы
 О многом, памятном лишь им:
 О днях до горестной женитьбы,
 О спальне с шелком голубым,
 Об одиночестве духовном,
 Телесном, — всяческом, — о ровном
 Теченьи весен, лет и зим,
 Чей ровный плеск невыразим,
 О брате матери — о дяде,
 Больном печальном старике,
 С бессменной книгою в руке
 Сидящем у окна, о взгляде
 Его помимном и немом,
 Как весь — теперь сгоревший — дом.

Росла одна и, кроме Феклы
 И англичанки Харингтон,
 Не отражали в доме стекла
 Ни одного лица. Ни стон,
 Ни смех людской не долетали
 В заклятый круг ее печали.
 Когда ж ей стало десять лет,



От мисс остался только след:
Язык английский, строфы Шелли,
Любимого поэта мисс,
И аткинсоновский «Ирис»,
Что впитан спальней. Неужели
Воспоминаний смолк черед,
Их нет, и жизнь спешит вперед?

14

Как будто нет. А впрочем... впрочем,
Дай вспомнить: кажется, что есть
И внучки дядя бедный — вотчим.
Он в гувернеры взят — прочесть
Курс гимназический. Он учит
Родному языку и пучит
Глаза, когда ребенок вниз
Сойдя, «Прошу вас» в «If you pleas»*,
Забывшись, превратит. Филолог,
За нежность к Герцену, изъят
Со службы, обучать был рад
По совести, и честно долог
Урок учителя. Лет в семь
Она прошла по классам всем.

15

В семнадцать лет она узнала
Все то, что удалось узнать,
Из юношеского журнала
Стараясь тщетно жизнь понять.
Ну как же можно тут резвиться,
Когда не более, чем тридцать,
Во всем именье было книг:
Книг не выписывал старик,
Довольствуясь своей бессменной,
Единственной, чей переплет
Он неизбежно клал в комод,
Упрятывая в сокровенный
Потайный ящик. Что за том
Был то, никто не знал о том.

* «Будьте добры» (англ.). — Ред.



Она не раз его просила
 Купить ей книг (не про Ягу!)
 И получала только мыло
 И от Балабухи нугу...
 Он говорил слов десять в месяц
 (Сюжет веселенький для пьесец!)
 И за семнадцать лет пять раз
 Впрягались кони в тарантас,
 Хотя был Киев верст за восемь...
 На слезные ее мольбы
 Добряк пожевывал грибы
 И говорил несвязно: «Озимь
 Поспеет — будет», и затем
 Ставал на две недели нем.

Немудрено, когда Фостирий
 Вдруг появился в их дыре
 (Их дом был отдан штаб-квартире
 На срок маневров на Днепре)
 И познакомилась с ним Лена,
 Отчаявшаяся от тлена
 Обставшего, немудрено,
 Что ею было решено
 Принять немедля предложение,
 Чтоб только жизнь переменить,
 Порвав с живой трупарней нить,
 И броситься в изнеможеньи,
 Раз выхода иного нет,
 Пожалуй, даже в высший свет!..

...Они живут уже пол-лета,
 Отбросив всякий этикет.
 Гоняют шарики крокета,
 Почти влюбленные в крокет...
 Простые ситцевые платья
 Зовут в зеленые объятия
 К ним расположенных ветвей,
 Их увлекает соловей,



И сравнивать то со Ржевусской,*
То с Зембрих северный комок,
Что так очаровать их мог,
Они не в шутку любят: русской
Душе доступно чувство то:
Она — прозрачнее Vatteau.

19

Как хорошо из душевной спальни
В оранжевый росистый час
Бежать, смеясь, к мосткам купальни,
Быть светской куклой разучась...
Как хорошо в воде прохладной,
Любуясь кожей шоколадной,
Стянувши в узел волоса,
Плескаться добрых полчаса...
Как хорошо ловить руками
Неуловимо карася,
И вновь, и вновь воды прося,
Купальню оплывать кругами.
В воде привольно и свежо...
Как молодо! Как хорошо!

20

А разве плохо, крикнув Груню,
Идти «по ягоды-грибы»
В июне и в леса к июню
Навстречу, может быть, судьбы?..
А разве плохо ледовые
На сыроежки рядовые
С почтеньем осторожно класть?..
Смеясь над мухомором всласть?..
И, перепачкавшись в чернике,
Черникой зубы почернить,
И, потеряв тропинки нить,
Поднявши до колен туники,
Болотничать до тьмы в лесу,
Приняв за зайчика лису?..

* Олимпия Баронет.



Пять дней в неделю были днями,
 А два совсем ни то — ни се:
Он приезжал, и вмиг тенями
 Вокруг подергивалось все...
 Смолкали ветреные шутки,
 Собаки забивались в будки,
 На цыпочках ходил лакей,
 И веял над усадьбой всей
 Дворцовый сплин. И наши девы,
 Меняя в день пять раз костюм
 И слушая «высокий» ум,
 Ныряли грезами в напевы
 Уже грядущих дней пяти,
 Воззвав ко времени: «Лети!»

Но обескрыленное время,
 Казалось, улыбалось зло,
 Постукивало скукой в темя
 Хозяек молодых, ползло.
 Однако, к полдню воскресенья
 Зачатки явны окрыленья,
 И только подан лимузин.
 Оно над рощицей осин
 Уже выращивает крылья.
 Когда же скроется авто,
 В какую высь оно зато
 Взлетает, выйдя из бессилья,
 И снова жизнь глазам видней,
 Ушам слышней... хоть на пять дней!

Елена в парк идет. Олунен
 И просиренен росный парк.
 В ее устах — прозрачный Бунин,
 В ее глазах — блеск Жанны д'Арк...
 А Кириена за роялем,
 Вся преисполнена Граалем,
 Забыла про кухню Lugne,



А Лугне вошла душой в июнь...
Она вошла и растворилась
В олуненной его листве
И, с думою о божестве,
Присела у пруда. Свершилось:
Она увидела в тени
Дубовой грустные огни.

24

Не поняла сначала — что там,
И только грусть их поняла
И, внемля отдаленным нотам
Рояля, думала: «Что мгла
Таит? откуда эти блики?
Что за сияющие вскрики?
Как их печальна бирюза!»
И вдруг постигла: то — глаза!
Не испугалась: были жданны.
Немного вздрогнула: уже!
Ее костюма неглиже
Не вспомнилось. Как чувства странны!
Как пахнет белая сирень!
И эта ночь — как лунный день...

25

Леандр спросил: «Как ваше имя?»
Елена отвечала: «Lugne»...
И было третье нечто с ними:
Луна расплавленная — лунь...
Вдали играла Кириена,
И таяла сонаты пена,
И снова вдруг Леандр спросил:
— Кто вас лишил так рано сил? —
И не ответила Елена...
И наступила тишина,
Их встречею поражена...
В кустах шарахнулась измена...
В испуге ухнула сова...
И Лугне шепнула: «В тридцать два»...



И вмиг опомнилась, и едко
 Спросила: «Что угодно вам?»
 Он встал, — глаза хлестнула ветка.
 Он фразы не нашел словам...
 И подошел к ней, скромный, стройный,
 Желанный и ее достойный,
 Из их родного далека
 Знакомый многие века...
 — Не узнаешь? — спросил. Хотела
 Ответить «да», оказалось «нет», —
 И омрачился лунный свет,
 И в краску бросило все тело...
 — Не узнаешь? Мечту свою?.. —
 И Lugne шепнула: «Узнаю...»

Шепнула и... проснулась. В парке
 Лунела сыро тишина,
 И были нестерпимо яркие
 Подробности лесного сна.
 Дом спал. Давно умолкла Кира.
 И потому, что было сыро
 И поздно, Lugne пошла домой,
 Все повторяя: «Мой ты... мой...»
 И с той поры в душе Елены
 Неповторимые глаза;
 В слезах молясь на образа,
 Она их ощущала плены,
 И предвкушенная любовь
 Окрашивала жизни новь.

Riene с широкими глазами
 Еленин выслушала сон
 И побледневшими устами:
 — Леандр... Леандр... Но кто же он? —
 — Он мысль моя! — и Кириена,
 Пугаясь странного рефрена
 В устах кузины, с этих пор



Не заводи́ла разгово́р
Про э́тот бред. И Ligne молчала,
Меж тем, все думая о сне,
Сама́ с собо́й наедине
Припомина́ла все сначала,
И яв́ью сон гото́в был ста́ть,
Но вдруг все путало́сь о́пять...

29

Уже́ и де́нь Преображе́нья,
А там́ пора́ и по́ домам
На молчали́вые сраже́нья —
Уде́лы де́вству́ющих да́м...
Обидно́ е́хать из дере́вни,
Когда́ все кра́ше ежедне́вней
Просте́рший листь́я ста́рый кле́н,
Как гу́сьи ла́пы на ба́лкон,
Когда́ нагро́здена́ ряби́на
И яблони́ми па́хнет са́д,
Когда́ ряд по́жен поло́сат,
И зо́лотеет пау́тина,
Когда́ в насту́рциях га́зон,
Но Пе́тербу́рг сказа́л: «Сезо́н».

30

В е́е ру́ках — о́дна неде́ля,
А там́ она́ са́ма в ру́ках
Не упои́тельного Ле́ля,
А му́жа в а́нглийских у́сах...
Ligne с Ки́рой жа́дно ло́вят ми́ги
И, отло́жив на вре́мя кни́ги,
С у́тра до но́чи по ле́сам,
Вне́мля кры́латым го́лосам,
Блужда́ют в по́лном упо́еньи,
Поблекну́вшие от то́ски,
Целу́я же́лтые листь́и,
И, жни́ц уста́лых слы́ша пе́нье,
Сочувству́я судьбе́ кре́стьян,
Гото́вы са́ми в са́рафан...



В лесу, над озером, на горке,
 Белеет женский монастырь,
 Где в каждой келье, точно в норке,
 Прокипарисенный пустырь.
 Там днем — молитвы покаянья,
 Смиренье, кроткость, воздыханья,
 Души и тела тяжкий пост...
 Но не для всех тот искус прост,
 Не все покой приемлют души,
 Не все покорствуют тела, —
 Творятся тайные дела,
 Слова протеста слышат уши,
 И видел восходящий день
 Шарахающуюся тень...

Подруге предлагает Кира
 Пройтись когда-нибудь пешком —
 Беру клише — «в обитель мира»,
 С котомкою и с посошком,
 Как ходят толпы русских странниц,
 Что для вертушек и жеманниц
 Из города совсем смешно,
 Но радостью озарено
 Для наших милых богомолок.
 И, не откладывая план, —
 На удивление крестьян, —
 Они выходят на проселок
 И лесом, уходящим вспять,
 Идут в лаптях верст двадцать пять.

В котомках хлеб, с водою фляжка.
 В глазах и подвиг, и восторг.
 Люба им каждая букашка,
 Чужд жизни суетливый торг.
 И нет следа от светской дамы
 В крестьянке, слушающей гаммы
 Лесов, будящих в ней экстаз,



С подъятой к небу синью глаз.
Их занимает каждый шорох.
Их привлекает каждый куст.
Впивай улыбку этих уст!
Впивай улыбку в этих взорах!
И если скажешь: «Что ж, каприз», —
За этот дам я первый приз...

34

Каприз! Что значит это слово?
Ты только вникни глубже в суть!
Ужели ничего иного
Не можешь ты в него вдохнуть?
Каприз капризу рознь. Все в свете
Каприз, пожалуй... Но и дети
Оттенки могут различить.
Каприз ведь и больных лечить,
Быть музыкантом, адвокатом,
Любить вот эту, а не ту,
В уродстве видеть красоту
И апельсин сравнить с закатом...
Не в том вопрос — в ком смех иль стон,
Вопрос: нам нравится ли он?

35

— Riene! ты, друг мой, не устала? —
— Немного, Lugne. А ты? — Чуть-чуть. —
Прохладнее к закату стало,
Уже кончается их путь.
Они мечтают о ночлеге.
Навстречу едут: две телеги.
— Далёко ль до монастыря? —
— Еще не выблеснет заря,
Как вы дойдете. За оврагом
Тропинка вправо от села. —
Lugne белкой скачет, весела,
Ей Кира вторит бодрым шагом.
Березки встали в ряд невест.
А вот блестит церковный крест.



Так шли они. Шла служба в храме.
 Помылись наскоро, и — в храм,
 Стоящий в соснах, точно в раме,
 Прекрасней всех на свете рам.
 В тот день паломников не видно,
 Что, впрочем, вовсе не обидно:
 Молитва любит меньше глаз.
 Блажен, кто жар молитвы спас,
 Кто может искренне молиться
 И смысл молитвы разуместь!
 В лучах зари лампадок медь
 Оранжевеет, и столица
 Со всем безверием своим
 Отвратна путницам моим.

Поют на клиросе монашки,
 И попик седенький чуть жив,
 Свершает службу. «Грех наш тяжкий», —
 Вздыхает старица, сложив
 В дрожащий крест руки пергамент,
 Угаслым взором на орнамент
 Взирая, точно в нем сам бог,
 И эхо удлиняет вздох.
 По церкви вьется синий ладан,
 И, как в тумане голубом,
 Елена прислонилась лбом
 К холодным плитам. Вдруг отпрядан
 В смятеньи Кириены взгляд,
 Чуть обернувшейся назад.

Елена встала. — «Lugne, родная,
 Прости, но ты назад взгляни»...
 И, легкий взглас испуская,
 Елена видит: те огни!
 Да, это он, — но стой исправней,
 Не вздрагивай! — знакомец давний,
 Чье имя точно олеандр,



Гость сна в сирени — он, Леандр!
— Его ты знаешь? — Знаю вечно! —
— Но кто же он? — Он мысль моя! —
— Прости, не понимаю я...
Lugne, ты больна? — Riene сердечно
Глядит в глаза ее. Но прочь
Hélène из церкви: «В ветер! в ночь!»

39

За ними — он. Они — аллеей,
Ведущей к озеру. Челнок,
Со смятою на дне лилеей,
Воткнулся в розовый песок!
Челнок столкнуть старалась тщетно
Riene, пока вдруг незаметно,
Но, твердой подчинен руке,
На гофрированном песке
Не сполз на озеро. Взглянула:
Леандр пред ними, шляпу сняв:
— Простите, может быть, неправ,
Что я без разрешенья... — Гула
Вечерний ветер нес волну,
И кто-то молвил: «Обману...»

40

Она смотрела, не мигая,
Не отрывая росных глаз,
Как грусть его, ей дорогая,
Из глаз Леандровых лилась.
Молчала Кира в потрясении,
Вбирая отблески осени,
И зеркалом спала вода,
И были миги, как года.
Потом все трое сели в лодку
И, ни о чем не говоря,
Туда поплыли, где заря
Сгорала — к дальнему болотку.
Не слышал этот вечер слов.
Закат был грустен и лилов.



Они проснулись на восходе,
 Их к полдню встретил старый дом.
 Сердца исполнены рапсодий:
 Ушли вдвоем, пришли втроем.
 В пути сдружились как-то сразу:
 За фразою бросая фразу,
 За смехом смех, за взглядом взгляд, —
 Друг другом каждый был объят.
 Писать друг другу слово дали
 Все трое, дали адреса,
 Запоминая голоса,
 И, распрощавшись, долго в дали
 Полей смотрели, где он шел —
 Велик и мал, богат и гол.

ЧАСТЬ II

1

Будь верен данной тайно клятве,
 Вдыхай любви благой озон!
 ...Уже в Мариинском театре
 Открылся Глинкою сезон.
 Уже кокотки и виверы
 К Неве съезжаются с Ривьеры,
 Уже закончился ремонт,
 Уж разложил ковры beau-monde,
 Обезгазетил все картины,
 Убрал чехлы, натер паркет
 И, соблюдая этикет,
 От солнца скрылся за гардины.
 И снова в воздухе висит:
 Модэль. Журфикс. Театр. Визит.

2

Уже меня рисует Сорин,
 Чуковский пишет фельетон.
 Уже я с критикой поссорен,
 И с ней беру надменный тон.
 Уже с утра летят конверты, —



В них приглашают на концерты
Ряд патронесс и молодежь.
Уже с утра стоит галдеж
В моей рабочей комнатухе
От голосов, и ряд девиц,—
Что в массе площе полендвиц,—
Вертя игриво завитушки,
Меня усиленно зовут
Читать им там, читать им тут.

3

Уж — это ли не хохот в стоне?
Не хрюк свиньи в певучий сон? —
К нам Чехов в устричном вагоне
Из-за границы привезен.
Как некогда царя Сусанин,
Спасает тело юный Санин
От слишком духовитых душ,
В ком вовсе нет души к тому ж...
Уже зовет на поединок
Из ям военщину Куприн,
Уж славит Леду господин
Каменский, как бесстрастный инок,
И испускает «чистый» вздох,
Беря попутно *четырёх*...

4

Уж первый номер «Аполлона»,
Темнящий *золото руна*,
Выходит в свет, и с небосклона
Комета новая видна;
То «Капитаны» Гумилева,
Где лишнего не видно слова,
И вот к числу звучащих слов
Плюссируется: *Гумилев*.
Уже «Весы» крушат пружину,
Уже безвреден «Скорпион»,
Стал иорданский вял пион,
Все чаще прибегает к джину
Бесплатных приложений Маркс;
Над «Нивою» вороний карк!



Все импотентнее Буренин,
 С его пера течет вода,
 И, сопли утерев, Есенин
 Уже созрел пасти стада...
 И Меньшиков, кумир столовых,
 Иудушкой из Головлевых
 Работает, как гробовщик,
 Всесильный *нововременщик*.
 И Розанов Василь Василич,
 Христа желая уколоть,
 Противоставит духу плоть,
 И как его ты ни проси лечь
 На койку узкую, старик
 Влюблен в двуспальный пуховик...

У Мережковской в будуаре
 На Сергиевской ярый спор
 О божестве и о бездари,
 Несущейся во весь опор.
 Уже поблескивает Пильский,
 И жмурит обыватель в Рыльске
 Глаза, читая злой памфлет
 Блистательнее эполет.
 Уже стоический упадник,
 Наркозя трезвое перо,
 Слагает песенки Пьерро,
 Где эпилепсии рассадник...
 Завод спасительных шестов
 Бердяев строит и Шестов.

Мадонну зрит Блок скорбно-дерзкий
 В демимонденковом ландо,
 И чайка вьет на Офицерской
 Свое бессмертное гнездо!
 Патент Александринке выдав
 На храм, своей игрой Давыдов,
 Далматов, Ведринская жнут



Успехи вековых минут.
И на капустник дяди Кости *,—
Утонченного толстяка,—
Течет поклонников река —
Смех почитающие гости,
Где злоязычная Marie **
Всех ярче — что ни говори!

8

Испортив школьный характер,
Придав умам вульгарный тон,
На всех углах кричат Ник Картер
И мистер Холмс, и Пинкертон.
Неисчислимы Конан-Дойля
Заслуги (скрой меня, о Toila,
От них!); в кавычках «ум» и «риск»
И без кавычек: кровь и сыск.
Аляповатые книжонки!
Гниль! облапошенный лубок!
Ты даже внешностью убог...
Чиновничьи читают женки,
Читает генеральшин внук,
А завтра Кольке по лбу «тук».

9

Уже воюет Эго с Кубо,
И сонм *крученых бурлюков*
Идет войной на Сологуба
И символических божков.
Уж партитуры жечь Сен-Санса —
Задачи нео-декаданса,
И с «современья корабля»
Швырять того, строфой чьей я
Веду роман, настала мода,
И, если я и сам грешил
В ту пору, бросить грех решил,
И не тебе моя, хам, ода...

* Варламов. (Прим. автора.)

** Савина. (Прим. автора.)

Плету новатору венок,
Точу разбойнику клинок.

10

Уж ничегочат дурни-всёки *
(Так, ни с того и ни с сего!)
И всёчат тщетно ничевоки
И это всё — как ничего.
С улыбкой далеко не детской
Уже городит Городецкий
Акмеистическую гиль,
Адамя неуклюжий стиль.
Уж возникает «цех поэтов»
(Куда бездари, как не в цех!)
Где учат этих, учат тех,
Что можно жить без триолетов
И без рондо, и без... стихов! —
Но уж никак не без ослов!..

11

Глаза газели, ножки лани
Так выразительны без слов,
И Анну Павлову с Леньяни
Поют Скальковский и Светлов.
Кто зрил Кшесинскую Матильду,
Кто Фелию Литвин — Брунгильду
В своей душе отпечатлел,
Завидный выпал тем удел.
Сакцентив арию, Медея
Дуэтит: «Ni jamais l'entendre...» **
(Раз император Александр,
В мечтах из Мравиной содея
Любовницу для сына, нос
Приял в том храме нот и поз).

* Две разновидности футуризма: «всёки» и «ничевоки». (Прим. автора.)

** «Никогда не слышать...» (фр.). — Ред.



Уже теснит «Динору» «Тоска»,
 И, жажде своего лица,
 Слегка звучит мой славный тезка —
 Сын знаменитого отца...^{*}
 Уже «Любовь к трем апельсинам»,
 Желая Карлу Гоцци сыном
 Достойным стать, смельчак-игрок,
 Почувствовав, сдает урок
 Сергей Прокофьев свой последний.
 Уже — скажи ему merci —
 В огромном споре Дебюсси.
 Артур Лурье вовлек нас в бредни,
 И на квартире Кульбина
 Трепещут «Сети» Кузмина...

А вот и сфера «нежной страсти»,
 Цыганских песенок запас.
 Улыбка Вяльцевой (жанр Насти!)
 И Паниной непанин бас...
 Звезда счастливая Плевицкой
 И маг оркестра Кусевицкий,
 И (валерьянки дай, Феррейн!)
 Вы, авантюры Ольги Штейн.
 Процесс comtesse^{**} О'Рурк-Тарновской
 Два стиля — comte'a Роникер
 И (до свиданья, хроникер
 Судебный!) ателье Мрозовской,
 Где знать на матовом стекле
 И Северянин в том числе!

В тот день и гордый стал орабен,
 Когда в костре своих страстей
 Раздался в гулких залах Скрябин —
 Во фраке модном — Прометей.

^{*} Игорь Стравинский. (Прим. автора.)
^{**} Графиня (фр.). — Ред.



И пред «Поэмою Экстаза»
Неувядающая ваза
С тех пор поставлена. Огонь
Антонов, тех цветов не тронь,
Как тронул гения! И по льду
Исканий жадная толпа
Скользит (о, шаткая тропа!)
К Евреинову, Мейерхольду
И даже... к Карпову. Тихи,
Евтихий, о тебе стихи...

15

А вот и Вагнер на престоле.
И «Ниbelунгово кольцо»,
В России тусклое дотоле,
Бросает жар толпе в лицо.
Но я описывать не стану,
Как к «Парсифалю» и «Тристану»
Под гром Ершова и Литвин,
Спешат гурманы нот и вин...
А вот и ты в фаворе, Римский,
Великий эпик и чарун!
Волнуют переплески струн
Твоих, как день цветущий крымский,
И я готов сто верст пешком
Идти для встречи с «Петушком»...

16

А Бенуа? а Добужинский?
А Бакст? а Сомов? а Серов?
Утесы на низине финской,
Огни нас греющих костров.
И с ними ты, гремющий в прерых
Краях, универсальный Рерих,
И офортисты (*escoutez*)! *
Рундальцов и старик Матэ.
Вершина горных кряжей Врубель,
Кем падший ангел уловим,

* Послушайте! (*фр.*).— Ред.



Ты заплатил умом своим
За Дерзость! Необъятна убыль
С твоею смертью, и сама
С тех пор Россия без ума...

17

Уж маска сдернута с Гапона,
Уж пойман Бурцовым Азеф,
И — к революции препона —
Оскален вновь жандармский зев.
Уже пята грядущих хамов,
Врагов искусств, святынь и храмов,
Порой слышна издалека,
И горьковского босяка
Удел для молодежи ярок
(Получше драгоценность прячь!)
Уж кается в записках врач,
Уже скитальческий огарок
Затеplen в молодых сердцах
На трепет ужаса в отцах...

18

Неугомонный Пуришкевич
Вздувал годами в Думе гам,
И в «Русском слове» Дорошевич
Рулил к заморским берегам...
Друг именинниц и театров,
Гиппопотам Амфитеатров,
Большой любитель алых жал,
Господ Обмановых рожал.
И Витте делал миллионы
На государственном вине,
И пьяный луч блестел извне
От императорской короны,
И, под правительственный шик,
Свой разум пропивал мужик.

19

В пылу забот о нем и спора
Учащийся впадал впросак:



Вблизи Казанского собора
Нагайкой жег его казак.
Хотя в те дни и были ходки
Везде студенческие сходки,
Но мысль о мыльном пузыре
Нас оставляла при царе,
Как царь оставлен близ придворных,
При всех советниках своих —
Льстецах злоумных и лихих,
Среди коварных и проворных,
И обречен давать ответ
За то, чего и в мыслях нет.

20

Беду вия над царским домом
В еще незримые венки,
Вхрипъ «Колокол» зовет к погромам
Под «Русским знаменем» шинки.
И «Пауком» ползя, Дубровин,
Уже от злобы полнокровен,
К евреям ненависть сосет,
Навозом «Земщина» несет,
И за «оседлости чертою»
Растет антироссийский дух,
И, чем плотней перинный пух,
Тем больше мстительной мечтою,
Закрыв в тоске бесправный рот,
Томится «презренный» народ.

21

Россия, Ибсеном обрандась,
Об «его» вспомнила своем
(Прошу отметку эту, Брандес,
Внести в очередной свой том!)
Уайльда, Шоу, Метерлинка —
У каждого своя тропинка
В душе к дороге столбовой,
У каждого художник свой.
Эстетность, мистика, сатира
И индивидуность — из частиц
Всех этих русских, с сердцем птиц,




Плоть автора «Войны и мира»,
Уже формировался, но
Сформироваться не дано...

22

В те дни, когда сверкала Больска,
Как златоиглый Cordon rouge *
Иллиодором из Тобольска
Зло ископаем некий муж.
И у Игнатьевой в салоне,
Как солнышко на небосклоне,
Взошел сибирский мужичок.
И сразу невских женских щек
Цвет блеклый сделался пунцовым,
Затем, что было нечто в нем,
Что просто мы не назовем,
Не пользуясь клише готовым,
И — родине моей на зло —
Гипнотизеру повезло...

23

И как бы женщине ни биться,
Его не свергнуть нипочем:
К несчастью ключ ей дан Вербицкой
И назван счастья ключом!..
И что скрывать, друзья-собратья:
Мы помогали с женщин платья
Самцам разнузданным срывать,
В стихах внебрачную кровать
С восторгом блудным водружали
И славословили грехи, —
Чего ж дивиться, что стихи —
Для почитателей скрижали, —
Взяв целомудрия редут,
К фокстротным далям нас ведут?



* Красный шнурок (фр.).

И привели уже, как роту,
 Как неисчисленную рать
 К международному fox-trott'y
 На вертикальную кровать!..
 Нас держит в пакостном режиме
 Похабный танец моды — Shimmi,
 От негритянских дикарей
 Воспринятый вселенной всей:
 В маразм впадающей Европой
 И заатлантным «сухарем»,
 В наш век финансовым царем,
 Кто счел индейца антилопой,
 Его преследуя, как дичь,
 Чего я не могу постичь...

Америка! злой край, в котором
 Машина вытеснила дух,
 Ты выглядишь сплошным монтером,
 И свет души твоей потух.
 Твой «обеспеченный» рабочий,
 Не знающие грезы очи
 Раскрыв, считает барыши.
 В его запросах — для души
 Запроса нет. В тебе поэтом
 Родиться попросту нельзя.
 Куда ведет тебя стезя?
 Чем ты оправдана пред светом?
 В марионетковой стране
 Нет дела солнцу и луне.

А и в тебе, страна Колумба,
 Пылал когда-то дух людской
 В те дни, когда моряк у румба
 Узрел тебя в дали морской.
 Когда у баобаба ранчо
 Вдруг оглашал призыв каманча,
 И воздух разрезал, как бич,



Его гортанный орлий клич,
Когда в волнистые пампасы
Стремился храбрый флибустьер,
Когда в цвету увядших эр
Враждебно пламенели расы
И благородный гверильяс
Жизнь белому дарил не раз...

27

Но, впрочем, ныне и Европа
Америке даст сто очков:
Ведь больше пользы от укропа,
Чем от цветочных лепестков!
И уж, конечно, мистер Доллар
Блестит поярче, чем из дола
Растущее светило дня —
Для непрактичных западня...
Вот разве Азия... Пожалуй,
Она отстаете других...
Но в век летящих паровых
Машин, век бестолково-шалый,
Ах, не вплетать ей в косы роз,
Да и Китай уже без кос...

28

Невежество свое культура
Явила нам неожиданно в дни,
Когда в живущем трубадура
Войны (война зверям сродни!)
Нашла без затрудненья: в груди
Мясной столкнулись лбы и груди,
За «благо родины» в бою
На карту ставя жизнь свою.
Мясник кровавый и ученый,
Гуманный культор и эстет —
Их всех сравнивал стальной кастет,
И, в атмосфере закопченной
Сражений, блек духовный лоск
И возвращался в зверство мозг...



Да, сухи дни, как сухи души,
 А души сухи, как цветы,
 Погибшие от знойной суши...
 В чем смысл культурной суеты?
 В политике вооружений?
 В удушье газовых сражений?
 В братоубийственной резне?
 В партийных спорах и грызне?
 В мечтах о равенстве вселенском?
 С грозящим брату кулаком?
 В нео-философах с их злом?
 В омужественном поле женском?
 В распятии всей землей Христа,
 За мир закрывшего уста?

Тогда долой культуру эту, —
 И пусть восстанет та пора,
 Когда венки плели поэту
 И чли огонь его пера!
 Когда мы небо зрели в небе —
 Не душ, зерно живящий в хлебе,
 Когда свободный водопад,
 Не взнузданный ярмом преград,
 Не двигателем был завода,
 А услаждением для очей,
 Когда мир общий был ничей,
 Когда невинная природа, —
 Не изнасилена умом, —
 Сияла светлым торжеством.

Прошли века, и вот мы — в веке,
 Когда Моэта пена бьет,
 Когда, как жаворонок некий,
 Моя Липковская поет!
 Когда, лилейностью саронской
 Насыщенный, пью голос Монской
 И славословлю твой талант,



Великолепная Ван-Брандт!
В эпохе нашей сонм отличий
От раньше прожитых эпох,
Но в общем всюду тот же вздох,
Все тот же варварский обычай:
Жизнь у другого отнимать,
Чем обрекать на муки мать.

32

Все нарисованное было
В девятисотые года,
Когда так много в душах пыла,
В поступках — еще больше! — льда...
Прошу простить за утруждение
Вниманья эрой вырождения, —
Не все в ней, мнится мне, мертво:
Искусства явно торжество,
И этого вполне довольно,
Дабы с отрадой помянуть
Свершенный нами с вами путь,
А если спутал я невольно
Событий ход, виднее вам:
Мой справочник в глуши — я сам!

33

Легко судить о человеке,
Но быть им, право, тяжело...
Освободим же от опеки
Нам ближнего свое чело:
Никто друг другу не подсуден,
По меньшей мере, безрассуден
Иной к живущему подход.
Пусть он живет за годом год,
Как указуют грудь и разум,
Как может жить и хочет он:
Ведь чувство — лучший камертон.
Поверим же глазам и фразам,
И настроеньям, и всему,
Что жизнь *его* дает ему...



...Приехав в город, Lugne рыдала
 Неудержимо, как дитя,
 Чем изумила генерала
 И возмутила не шутя.
 Он попытался знать причину,
 Но, побоясь попасть в пучину
 Несдержанности, отошел
 В сторонку, холоден и зол.
 Неделью просидела в спальне,
 К себе впуская лишь Riene,
 Потом утихла. Нити вен
 Висковых сделались печальней,
 И ранним утром в день восьмой
 Вновь стала Lugne сама собой.

Наружной выдержки порою
 Достаточно, чтоб в колею
 Жизнь встала, и я сам, не скрою,
 Тем способом чинить люблю
 Прорехи собственных ненастий,
 Рассудку подчиняя страсти.
 Я мыслил в юности не так,
 Затем, что был большой чудаки.
 Теперь же здесь, в стране нерусской,
 И хорошенько постарев,
 Давлю в себе и страсть, и гнев,
 Вполне довольствуясь закуской,
 Какую мне дает судьба:
 Мудра эстонская изба!..

И пусть Фостирий — мудрый хандрик,
 И пусть поэзия — в селе,
 Lugne вечно грезит о Леандре,
 Кто дал ей грезу на земле,
 Кто встретился ей очень кстати
 Там, на оранжевом закате,
 На озере монастыря...



Свою судьбу благодаря
За встречу, чуждую измены
Телесной — дух ее без ков:
Он волен на века веков, —
Что очень важно для Елены,
Она не ищет новых встреч
С тем, кто сумел ее зажечь.

37

Наоборот, когда ей Кира
Дала намек на встречу с ним,
Не донося до рта пломбира,
Бровей движением одним,
Соединивши брови туго,
Ее сконфузила подруга.
И часто говоря о нем
С неугашаемым огнем,
О встречах каждый день молчали
И ждали писем от него.
Уж приближалось Рождество,
Уже зима была в начале,
И хоть была уже зима,
Он им ни одного письма...

38

Ежевечерне выезжая
В театры, в гости, на балы,
Неизменимо всем чужая
(Как эти глупы! как те злы!..),
Тая в душе любовь к прекрасным
Глазам, своей печалью ясным,
И от любви похорошев,
Хотя немного побледнев,
Она в лице своем являла
Вполне счастливую жену,
И даже зависть не одну
Будила в дамах, чем нимало
Не смущена, смущала тех,
Кому ее был внове смех...



— Как пел сегодня Баттистини!
 Как соловьила Боронат! —
 Взяв провансалья к осетрине
 И мужу передав шпинат,
 Сказала Ligne в очарованьи
 И от любимого Масканьи,
 И от полета рысака...
 Муж ел, смотря чуть свысока,
 Налив стаканчик Кантенака.
 Окончен ужин. Муж к руке
 Ее подходит. По щеке
 Скользит губами Ligne. Однако
 Она к себе. Пред ней трюмо.
 Стол в зеркале. На нем — письмо.

ЧАСТЬ III

1

Письмо Леандра: «Как ни странно,
 Я, видевший Вас краткий раз,
 Душою с Вами постоянно.
 Я вижу Вас. Я слышу Вас.
 Я ощущаю Вас повсюду.
 Я, вероятно, не забуду
 Вас никогда. Вы обо мне —
 Сон в яви или явь во сне? —
 Немного помните: тот вечер
 На озере монастыря,
 Залитая водой заря,
 И речи глаз, уста без речи,
 И следующий день — леса,
 Вы, Кира, я и небеса?..

2

Я не писал — мне не хотелось
 Нарушить новью вашу старь,
 Что соловьем в душе распелась...
 Я слушал пенье, на алтарь
 Любви воздвигнув нежный образ,



Какой судьба с улыбкой, сдобрясь,
Найти мне в жизни помогла.
Вы — свет, все остальное мгла...
Я не писал день, две недели,
Четыре месяца. Я ждал
Чудес каких-то. Я не знал,
Порою, были ль в самом деле
Вы посланы навстречу мне,—
Не видел ли я Вас во сне?

3

Да и теперь, взыскатель были,
Я не надеюсь на ответ
Не потому, что Вы забыли,
А потому что... вдруг Вас нет?!
И тем ожиданнее это,
Что первый раз не в это лето
Я встретил небо Ваших глаз...
Со сном действительность слилась:
Мне сны до встречи предвещали
Ваш голос, очи, кудри, лик.
Я к Вам давно в мечтах привык,
К запросам Вашим и к печали,
Когда ж теперь Вас наяву
Узнал — проснулся и живу.

4

И вдруг, что мне блеснуло явью,
Окажется обманном сном?
И пустоту познав аравью,
И день и ночь все об одном
Терзаться стану я, что — нежить
Вы та, кого привык я нежить
В своих возлюбленных мечтах,
Что Вы, живительная в снах,
Лишь смутный призрак в этой яви...
А если и оплотен дух,
К моим призывам будет глух,
Что женщины Вас нет лукавей,
Что Вы совсем, совсем не та,
Кем быть должна моя мечта...



Так кто же Вы — ответьте прямо,
 Когда Вы знаете сама:
 Пустая взбалмошная дама,
 Кем русские полны дома,
 Бесплодный призрак, дух мертвящий,
 С душою ли животворящей,
 Мне предназначенной судьбой,
 Сопутник ясно-голубой?
 Я знать тревожусь — кто Вы? кто Вы?
 Простите странный тон письма, —
 Я, кажется, схожу с ума, —
 Такой кошмарно-бестолковый...
 А если в средние века
 Вы... впрочем, умолчу пока...» —

«Утешьтесь — я живу на свете,
 Не бред, не сказка, не мираж...
 Я Ваша целый ряд столетий...
 Мне дух больной понятен Ваш:
 Ведь Вы типичный неврастеник,
 Вы человек, в чьей жизни тени
 Коснулись ясного чела.
 Я получила и прочла
 Душою, — не глазами, — строки.
 Я Вам сочувствую вполне.
 Вы дороги и близки мне.
 Как я, Вы в жизни одиноки...
 Я замужем двенадцать зим.
 Мой муж мне чужд: мне трудно с ним».

Леандр ответил: «Бросьте мужа,
 Придите: я Вам счастье дам, —
 Вас замораживает стужа.
 Я Вас моложе по годам:
 Мне двадцать два. Я очень беден.
 Но гений мой, Héléne, победен,
 И вскоре славен и богат



Я буду. От моих сонат
Уже теперь в кружке интимном
Все меломаны без ума,
И не пройдет еще зима,
Меня страна приветит гимном,
И композиторский венец
Приемлет гений наконец».

8

И Lugne сказала Кириене:
— О радость: друг мой — музыкант!
Но шатки лестницы ступени:
Зачем он хвалит свой талант?
Его погубит эта свита...
Мой долг — сказать ему открыто
Свой взгляд, его предостеречь:
Самоуверенная речь
Меня пугает. С этой целью
Увидеться я с ним должна.
Его душа поражена
Опасным самомнением. В келью
Грез композитора влетел
Дух тьмы: безрадостный удел...

9

И встретились они на Мойке,
У Поцелуева моста.
Леандра мысли были стойки,
И замкнуты его уста.
Как руки ласково дрожали!
Какую муку выражали
Слиянные две пары глаз!
Какой мучительный экстаз
Объял их крыльчатые души!
Какой огонь расцвел в крови!
Но не сказалось о любви,
И настороженные уши
Не уловили нежных слов:
Шел час гуляющих ослов...



Она сказала: «Друг мой — скромность —
 Удел талантливых людей...»
 Он отвечал: «Но я огромность:
 Я выше всех в стране своей!
 Я это чувствую, я знаю...
 Я собираю звуки в стаю,
 И эта стая в свой полет
 Всех маловерных вовлечет.
 Чего же должен я стыдиться?
 Зачем талант мне умять?
 Вы для меня — подруга, мать,
 Жена бесплотная, царица, —
 Все в свете, но... спросить Вас жаль:
 Вы слышали ли мой рояль?»

Конечно, нет. Так отчего же
 Про скромность говорите Вы?
 На пенье птички не похоже
 Жужжанье гордой тетивы!
 И я не птичка, — я охотник,
 Заботящийся беззаботник,
 И восторгаться для меня
 Собой — как Вам сиянье дня.
 Я оттого исполнен силы
 И вдохновенья, и мечты,
 Что сознаю себя. Кроты,
 Скопцы и выходцы могилы,
 Живые трупы, жалкий сброд,
 Понятно, это не поймет...

И не поняв, того осудит,
 Кто сознает в себе себя,
 Над силою глумиться будет.
 В великом мощи не любя,
 От зависти в негодованьи...
 Такое жалкое созданье



Я презираю. Мне оно
Отвратно. И еще одно
Заметить Вам я должен: в наше
«Санженистое» время, в век
Кривляк и нравственных калек,
Когда фальсификаты в чаши
Священные налил наглец,
С таланта истого венец

13

Стараясь на себя натянуть,
В век псевдо-умных дураков,
Стремящихся умы ужалить,
Художник должен быть таков,
Как я: не скромничать (осилит
Бездарь иначе!), должен вылит
Быть как из стали — тверд и смел,
В боях с рутиною умел,
Не поддаваясь вздорной брани
И не пьянея от похвал.
Подъяв талант, как бурный вал,
Он должен хлынуть через грани
И все препятствия с пути
Волною хлынувшей смести».

14

Он замолчал, разгоряченный,
Потупился и как-то сник:
Ведь Lugne с улыбкою смущенной
Не поняла его язык...
Был полон нежный взор укора.
Она не выносила спора
И прошептал: «Не правы Вы», —
Пошла от Арки вдоль Невы
За Эрмитаж, по Миллионной.
Он молча шел за нею вслед
И думал: «Сколько нужно лет,
Чтоб в ней, наивной и влюбленной,
Все предрассудки превозмочь?»
Раскланялся, и вскоре — прочь.



Неведомые встали стены
 Меж ними с первой же поры,
 И вкралась боль в мечты Елены...
 Рубили где-то топоры
 Сады волшебные... И тяжело
 Стволы валялись... Вяло кашка
 Чуть розовела у пенька...
 Присела на бревно Тоска
 В чепце и траурной мантилье...
 Цветы поблекли, трепеща...
 Свернулись листики плюща...
 Узнали птицы гнет бескрылья...
 Сияло солнце без тепла...
 И жизнь на животе ползла...

Любовь не терпит ссор и трений,
 Непониманья и обид.
 Но любит кто без преткновений?
 Кто из влюбленных не скорбит?
 И для любви порой не нужно,
 Чтоб люди рассуждали дружно.
 Напротив — часто легкий спор
 Живит наш утомленный взор,
 В нас бодрость новую вливая,
 И вслед за ссорою опять
 Нам нежно хочется обнять
 Того, чья радостность живая
 Способна в нас ответ будить:
 Без споров, право, скучно жить!

На рысаках отцовских серых,
 Под синей сеткой, в Главный штаб,
 Будя восторги в офицерах,
 Лугне едет с мужем. И Агап
 Роскошен в четырехугольной
 Зеленой бархатной-корольной! —
 Российской шапке кучерской...
 Молодцевато-щегольской



Имея вид в кафтане ватном,
Вплетясь в одну из невских лент,
Он правит. Шапки позумент
Блестит на солнце. На обратном
Пути Лугне едет к Вейсу: там
Ботинки, близкие мечтам!

18

Оттуда надо бы к княгине:
Сегодня, кажется, среда,
Когда жует кусочек дыни,
Как дыня, скучная среда...
Но как не хочется! А надо:
Муж требует... — «Я очень рада», —
Princesse * скрипит: «O, mon enfant!» **
И пудру хвалит Houbigant,
Браня L'Orsay'a и River'a, —
«Не тот нюанс... vous comprenez?» ***
Про заграничное турне
Рассказывает, и Ривьера
Теряет весь свой колорит,
Когда княгиня говорит...

19

Парижскую надев ротонду,
Укутанная в шеншиля,
Вдруг вспоминает «Эсclarмонду»,
В четверг идущую. Шаля,
Как девочка, из бельэтажа
Сбегаёт вниз все та же, та же,
Какой была, — в начале строф
Романа, — в зелени лугов!
Торт захватив от Кочкурова,
Она торопится домой
И вдруг становится немой,
И брови хмурятся сурово:
Часы на Думе били пять, —
И так легко ее понять...

* Княгиня (фр.). — *Ред.*

** О, мое дитя! (фр.). — *Ред.*

*** Вы понимаете? (фр.). — *Ред.*



Глазам кузины Киры карим
 Приятный поднесен сюрприз:
 Фостирий послан государем
 По делу личному в Тавриз.
 Репейник инцидента скошен
 И ласково Леандр попрошен
 Прийти к кузинам вечером
 Сыграть себя. И он, влеком
 Мечтой блеснуть перед любимой,
 Хотя и плохо веря в то,
 Накинув верхнее пальто,
 Спешит к ним, стужею гонимый,
 И в упоеньи входит в зал. —
 Его встречает... генерал!

21

В тужурке будничной, домашней,
 С Георгием, весь ледяной,
 Встав прозаическою башней
 Над романтической женой,
 Он смотрит на Леандра взором,
 Застыли навсегда в котором
 Бюрократическая сушь,
 Дипломатическая чушь!
 Полоски губ надменно сжаты,
 И лыс его покатый лоб...
 Вдали воздушный слышен топ
 И смеха звонкого раскаты,
 Летит на стол из рук берэт
 И, вмиг затмив собой... портрет,

22

Идет обрадованно Кира
 Навстречу гостю — чар не сдунь! —
 В ее очах — «обитель мира»
 И озеро. А вот и Lugne,
 Забывшая былую горечь:
 — Я рада Вам, Леандр Петрович... —
 И посмотрев в глаза в упор,



— Мы, к сожалению, до сих пор
Не слышали с Riene ни разу
Мотивов Ваших. Раньше чай?
Ну, как хотите! Николай!
Приема больше нет». И вазу
С нарциссами подвинув вбок,
Она садится в уголок:

23

— Так мне удобней будет слушать...—
Садится Кира на диван.
Леандр готовится обрушить
На женщин звуков ураган.
Ударил по клавиатуре,—
И закружились звуки в буре,
И с первых нот понесся шторм —
Свершение небывалых форм:
Гремел, стонал, смеялся, плакал,
Стихал и снова возрастал,
И кто-то шел на пьедестал,
Срывался в бездну, выл и звякал,
Вставал, дрожа, кричал и лез,—
Летело море, мчался лес...

24

Росли остепленные розы,
Качаясь в воздухе. Гигант
Слал то молитвы, то угрозы...
Располоводился талант,
Вовсю сверкая и пылая,
Душа горела огневая,
И орус, вдохновенно-шал,
Казалось, мертвых воскрешал.
Аккорд. И пауза. И бисер
Рассыпал выскочивший гном,
И вдруг заволокнулся сном...
Метнулись чьи-то крылья к выси:
Рыдая, кто-то нес свой дар...
Молитва. Вызов. И — удар.



И стих рояль. Со стула резко
 Поднялся огневой игрок
 И, став белей, чем в храме фреска,
 Склонился у любимых ног,
 Целуя ледяные руки,
 Упал в бездонные от муки
 Ненаглядимые глаза,
 Поднятые на образа,
 Чтоб образов игры не видеть,
 Витающих под потолком...
 И Ligne сказала: «Не знаком
 Мне Демон Ваш. Боюсь обидеть:
 В нем торжествующий порок...»
 Отпрянул от нее игрок...

И пролетела в стихшем зале,
 Крылами сумрачно шурша,
 Средь гиацинтов и азалий,
 Гордыни полная душа.
 И льдом повеяло от лета...
 Поблекла стульев позолота...
 Леандр, закрыв лицо, молчал...
 Еще теплел, еще звучал
 Рояль, напоминавший плаху...
 Вдруг Кира быстро к игроку
 Прошла и, наклонясь к виску,
 Поцеловала, и с размаху
 Упала навзничь, закричав:
 — Прославленный всеславьем слав! —

И поздней ночью две кузины
 Имели крупный разговор.
 В непроходимые трясины
 Он их вовлек. И с этих пор
 Как в них вошло недоуменье
 Друг перед другом, единенье
 Нарушилось, и дружба их
 Увяла разом. Для других



Могли возникнуть компромиссы,
Но не для целостных натур —
Пути такие. Скорбно хмур
Был облик будущей актрисы,
И бледные черты остры,
Когда расстались две сестры...

28

— Вы гений милостью господней,
Искусствник Вы *par excellence*! *
О, я постигла Вас сегодня,
И мной обожествлен Ваш транс.
Поймите, что *она* — малютка
Пред Вами. Для ее рассудка
Вы непостижны. Вы — титан,
Иной удел Елене дан.
Она Вас любит, — я не знаю...
Она, так думая, не лжет,
Но никогда Вас не поймет
И не придет к Вам, как к Синаю.
Не верьте правде малых сих:
В ней часто гибель для больших.

29

Я полюбила на закате, —
На озере монастыря, —
И мягкое рукопожатье,
И Ваших синих глаз моря,
Я полюбила Ваши пальцы, —
Клавиатурные скитальцы, —
Я полюбила Вас всего,
Сама не знаю отчего.
Вы никогда мне не приснились,
Ни до, ни после — никогда.
И Вас я не ждала года,
Но встретились и полюбились.
Но Вашей быть я не могу:
Я музу Вашу берегу. —

* По преимуществу (фр.). — Ред.



Леандр прочел и, вспомнив Киру
 Признательно, чуть побледнев
 И, отхотев на время лиру,
 Любви... Елены захотел!
 И написал: «В леса я еду.
 Хотите вместе. Завтра, в среду.
 Вокзал Балтийский. В два часа».
 ...Они поехали в леса,
 Туда, к монастырю глухому,
 Где встреча первая была,
 Где служба на закате шла,
 Где провожал он женщин к дому,
 Где вечер протекал без слов,
 Где запад грустный был лилов...

31

Ночь тихо колокол качала,
 Окрестность благостью даря.
 Как быстро тройка их домчала
 До белых стен монастыря!
 Тепло друзьям в дохе сибирской,
 Тепло и в келье монастырской
 Сидеть у печки на полу,
 Смотря на символ наш — *золу*...
 Принципиальных расхождений
 Умолкла тяжкая чреда:
 Они болтают без труда,
 Исполненные впечатлений
 Лесов со снежной бахромой
 И ласки старины хромой...

32

Сереют сумраки, — все ближе
 Вечерней нежности черед,
 С собой захваченные лыжи
 Леандр тюленьим жиром трет,
 Его у печки нагревая
 И легким слоем покрывая
 Отполированную гладь,



Носящую живую кладь...
Как удержаться, чтоб попутно
Вновь не прославить лыжный спорт?
Ведь мне, кто жить в природе горд,
Нужна почти ежеминутно
По зимам скользкая доска,
Какой прихлопнута тоска...

33

Они выходят за ворота,
Во тьме спускаются на лед.
Им кажется, что третий кто-то
За ними, крадучись, идет.
Иль это небо сыплет хлопья?
Иль это мысль его утопя
Шуршит воскрыльями в тиши?
Кому бы здесь и быть в глуши?
Уснуло озеро под снегом.
Они скользят на лыжах вдаль
Сквозь снег, — как с мушками вуаль, —
Довольные своим пробегом.
Не видно звезд и нет луны.
Все, все сказать сердца вольны.

34

— Чего ты ждешь? — она спросила.
— Я жду тебя назвать своей. —
— Во мне пока бессильна сила
Покинуть мужа и детей. —
— Но, Лигне, пойми, я жду развода. —
— Не жди, Леандр, моя свобода
Без крыл, и больше не парит, —
Мне это совесть говорит.
Не создана я для измены, —
В измене ложь: я правду чту.
Друг в друге видим мы Мечту, —
Довольно с нас. Не мучь Елены.
Пусть будет свет. Не нужно тьмы:
Лишь друг вне друга вместе мы.



Ты говоришь: развод, — как будто
 Исправит что-нибудь развод.
 Развод — пустяк, развод — минута,
 А знаешь ли, что значит — год?
 Не только год счастливой страсти,
 Любви слинялой, полной сласти, —
 А год, *мой* год тяжелых мук?
 А здесь не год, Леандр, подумай:
 Двенадцать лет, двенадцать лет,
 Двенадцать лет, как счастья нет,
 Двенадцать лет тоски угрюмой,
 И чуждый муж, но все же свой,
 Привычный, человек живой!

Он любит *Lugne* твою, как может.
 Где силы сделать боль ему?
 Его судьба меня тревожит.
 Такой ценой я не приму,
 Поверь мне, счастья: этот праздник,
 Пожалуй, хуже был бы казни.
 Нет, на несчастьи других
 Могу ль о радостях своих
 Спокойно думать? Дети! дети!
 Как вас делить? О, что за вздор!
 Оставим этот разговор,
 Оставим злые мысли эти:
 Такая воля — мрачней тюрьмы.
 Лишь друг вне друга вместе мы.

Да, творчество твое велико,
 Как падший ангел, гений тьмы,
 Но богоборческого лика
 Краса страшна мне. Как же мы
 С тобою совместим всю разность
 Душ наших, знающих экстазность,
 Таких и близких, и чужих?
 Я без ума от глаз твоих,



От светлой нежности ребенка,
От одаренности твоей,
Но не от скрытых в ней идей,
Кошунственных и льнущих тонко
И искусительно в сердца...
Я без ума... не до конца!

38

Пребудем же, Леандр, друзьями,
Как были до сих пор века,
Смотря влюбленными глазами
На друга друг... издавека!
В измене тела — ложь. В свиданьи
Бесплотном — сплошь очарованье,
Святая правда близких душ...
От них не пострадает муж,
И невсколыхнутая совесть
Моя меня не укорит.
Вот путь единый, что открыт
Для нас — невинность встречи, то есть,
Сумбур отвергшие умы
Лишь друг вне друга вместе мы. —

39

Сказала, вздрогнула и, с криком
Прижав его к своей груди,
В теряющем порыве диком,
Отпрянула: «Не подходи...
Единственный! Боготворимый!
Не искушай своей любимой:
Я обессилена борьбой, —
Уйди, Леандр, господь с тобой...»
...И он ушел во тьму на лыжах,
Ни слова больше не сказав,
Когда ж, озябнув и устав,
Вернулась в келью Ligne, на рыжих
Лошадках были хомуты,
И голос звал из темноты:



— Готовы лошади. Мне барин
Велел на станцию Вас свезть. —
Был лик Елены светозарен:
Сердца друг другу дали весть!
Она подать велела сани
Спустя неделю, от скитаний
Души уставшая, реша
Говеть в монастыре. Душа
Молитвы жаждала. Все службы
Она простаивала. Храм
Дал исцеление скорбям,
И, с чувством неизменной дружбы
К Леандру, ехала зимой
Ты, маленькая Lugne, домой...



ЭПИЛОГ

Леандр гремит во всей вселенной.
Давно ушла от мужа Lugne:
Живет с детьми мечтой нетленной.
В каштаны прядей вкрался лунь...
И застрелилась Кириена,
Познав, как зла ко многим сцена,
И от усадьбы вековой
Остался пепел. Ветра вой —
Над монастырскою руиной.
А в мире все цветет сирень,
Весенний наступает день,
Чарует рокот соловьиный,
И людям так же снятся сны
Обманивающей весны...

